Тони

Моррисон

Самые голубые глаза



Красотой можно не просто обладать, ее можно еще и создать.

ЛУЧШЕЕ ИЗ ЛУЧШЕГО
КНИГИ ЛАУРЕАТОВ МИРОВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

18+

Самые голубые глаза
Тони Моррисон

Аннотация
Тони Моррисон. Самые голубые глаза
Осень
Зима
Весна
Лето
Послесловие

Аннотация

В этом романе Тони Моррисон показывает темное закулисье маленького американского городка, где живет Пикола Бридлав, единственная мечта которой — голубые глаза.

Красота — понятие относительное, но для Америки 40-х годов черной красоты не существует.

Моррисон рассказывает сотканную из лоскутов трагедий, невежества, предрассудков историю чернокожей девочки, желающей одного — чтобы на нее взглянули по-другому.

А еще — истории множества других людей: ее родителей, одноклассников, знакомых. Перед нами чередой проходят события, которые перевернули жизнь Пиколы навсегда.

Есть книги, читать которые — больно. Но это боль исцеляющая, потому что о чем бы ни писала Моррисон, все ее книги — о любви.

Тони Моррисон
Самые голубые глаза

© Тогоева И., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Тем двоим, что дали мне жизнь, и тому единственному человеку, который сделал меня свободной

Вот их дом. Он зеленый с белым. А дверь красная. Он очень хорошенький. Вот семья, что живет в этом бело-зеленом домике. Мать, отец, Дик и Джейн. Они очень счастливы. Это Джейн. У нее красное платьице. Она хочет играть. Кто будет играть с Джейн? Это их кошка. Она мяукает. Иди сюда, поиграем. Иди, поиграй с Джейн. Но котенок играть не желает. Это мать. Она очень милая. Мама, ты поиграешь с Джейн? Мать смеется. Смейся, мама, смейся. Это отец. Он большой и сильный. Папа, ты поиграешь с Джейн? Отец улыбается. Улыбайся, папочка, улыбайся. Это их собака. Собака лает. Ты хочешь поиграть с Джейн? Видите, собака убегает. Беги, собака, беги. Смотрите, смотрите. Это идет один из друзей. Друг поиграет с Джейн. Они будут играть в хорошую игру. Играй, Джейн, играй.

Вот их дом он зеленый с белым а дверь красная он очень хорошенький вот семья что живет в этом бело-зеленом домике мать отец дик и джейн они очень счастливы это джейн у нее красное платьице она хочет играть кто будет играть с джейн это их кошка она мяукает иди сюда поиграем иди поиграй с джейн но котенок играть не желает это мать она очень милая мама ты поиграешь с джейн мать смеется смейся мама

смейся это отец он большой и сильный папа ты поиграешь с джейн отец улыбается улыбайся папочка улыбайся это их собака собака лает ты хочешь поиграть с джейн видите собака убегает беги собака беги смотрите смотрите это идет один из друзей друг поиграет с джейн они будут играть в хорошую игру играй джейн играй

Вотихдомонзеленыйсбелымадверькраснаяоноченьхорошенькийвотсемьячтоживетвэтомбело-еленомдомикематьотецдикиджейнониоченьсчастливыэтоджейнунеекрасноеплатьицеонахочетиграткктобудетиграсьджейнэтоихкошкаонамяукаетидисюдапоиграемидипоиграйсджейннокотенокиграсьнежелаетэтоматьонаоченьмилаямаматыпоиграешьсджейнматьсмеетсясмейсямамасмейсяэтоотецонбольшойисильныйпапатыпоиграешьсджейнотецулыбаетсяулыбайсяпапочкаулыбайсяэтоихсобакасобакалаеттыхочешьпоиграсьджейнвидитесобакаубегаетбегисобакабегисмотритесмотритеэтоидетодиниздрузейдругпоиграетсджейнонибудутиграсьвхорошуюигруиграйджейниграй

Пока это так и осталось для нас тайной, но осенью 1941 года бархатцы ни у кого не цвели. Нам-то казалось, что у нас они не зацвели и даже не взошли, потому что Пикола была беременна

от своего отца. Если бы мы провели самое пустяковое расследование и поменьше грустили, то поняли бы, что бархатцы не взошли не только у нас; ни в одном саду той осенью бархатцев не было. Даже в тех, что выходят к озеру. Но мы были настолько озабочены тем, чтобы Пикола благополучно родила здорового ребеночка, что ни о чем другом и думать не могли; и потом, мы были уверены в своей магии: если уж мы посадили семена и правильные слова над ними сказали, так они непременно должны были и взойти, и расцвести. И тогда все было бы хорошо. Лишь много времени спустя мы с сестрой догадались, что никаких всходов наши семена не дадут. И сразу принялись облегчать собственное чувство вины в бесконечных спорах, взаимных обвинениях и попытках выяснить, кто же все-таки виноват. Много лет я считала, что моя сестра была права и это я совершила ошибку, посеяв семена слишком глубоко. Нам обеим даже в голову не приходило, что сама земля могла отказаться родить. Мы посеяли семена на нашем собственном клочке черной земли точно так же, как посеял свои семена у себя отец Пиколы. Наша невинность и вера оказались не более плодотворны, чем его вожделение и отчаяние. Теперь ясно лишь одно:

та надежда, вера, похоть, любовь и печаль ничего не дали; остались лишь Пикола да упрямо не желавшая плодоносить земля. Чолли Бридлав умер; умерла и наша невинность. Наши семена, так и не взойдя, погибли в земле; погиб и ребенок Пиколы.

Тут и сказать-то на самом деле больше нечего — разве что «почему?». Но поскольку на этот вопрос ответить очень трудно, стоит, пожалуй, укрыться за словом «как».

Осень

Монахини проходят мимо, неслышные, как похоть, и пьяные мужчины с трезвыми глазами поют в лобби греческого отеля. Розмари Виллануччи, наша ближайшая соседка, — она живет над кафе, принадлежащем ее отцу, — сидит в «Бьюике» выпуска 1939 года и ест хлеб с маслом. Опустив окно, она высовывается и говорит нам, моей сестре Фриде и мне, что мы-то в машину сесть не можем. Мы смотрим на нее: нам тоже хочется хлеба с маслом, но еще больше нам хочется дать ей в глаз, чтобы вдребезги разнести эту наглую физиономию, на которой написана гордость собственницы, прямо-таки брызжущая из ее жующего рта. Ничего, пусть только вылезет из машины! Уж мы эту противную Розмари так поколотим, что вся ее белая кожа будет в красных отметинах, а сама она будет плакать и спрашивать, не надо ли, чтобы она сама свои штаны спустила. Мы гордо скажем «нет», хотя понятия не имеем, что должны почувствовать или сделать, если она действительно их спустит. Но, когда она у нас об этом спрашивает, мы все

же понимаем: она предлагает нам нечто весьма ценное, а потому все подобные предложения гордо отвергаем.

Занятия в школе уже начались, и мы с Фридой получили новые коричневые чулки и пьем рыбий жир. Взрослые усталыми нервными голосами обсуждают дела угольной компании «Зик» и заставляют нас ходить вечером на железнодорожные пути, прихватив мешки из грубой дерюги, и собирать там мелкие куски угля. А когда мы возвращаемся домой, то, оглянувшись, видим, как в овраг, что тянется вокруг сталеплавильного завода, вываливают целые огромные вагоны огненно-красного дымящегося шлака. Сполохи неяркого тускло-оранжевого огня так и вспыхивают в небесах. Мы с Фридой тащимся позади всех и все оглядываемся на эту полосу оранжевого света, окруженную чернотой. И неизменно начинаем дрожать, когда наши босые ступни перестают чувствовать под собой гравиевую тропу и входят в заросли ледяной пожухлой травы на поле вокруг нашего дома.

Дом у нас старый, холодный, выкрашенный зеленой краской. По вечерам одну-единственную большую комнату освещает керосиновая лампа. В остальных помещениях царит тьма и шуршат

тараканы и мыши. Взрослые с нами не разговаривают — они *дают нам указания*, которые, впрочем, никак не объясняют. Если мы споткнемся и упадем, они лишь с удивлением взглянут на нас; если кто-то из нас случайно порежется или сильно ушибется, они только спросят: «Вы что, спятили?» Когда мы простужаемся, они с негодованием качают головой, считая, что не заболеть у нас «попросту ума не хватило». Как, спрашивается, говорят они, можно что-то сделать, если вы все время валяетесь больные? Разумеется, на это мы ничего ответить не можем. Нашу болезнь лечат презрением, вонючим слабительным из александрийского листа и касторовым маслом, от которого у нас совсем тупеют мозги.

Как-то раз, на следующий день после похода за углем на железнодорожные пути, я довольно сильно закашлялась — бронхи у меня уже были напрочь забиты мокротой, — и мать, нахмурившись, велела: «О господи, полезай-ка снова в кровать! Сколько раз мне говорить, чтоб ты голову чем-нибудь покрыла? Да куда там, другой такой дуры во всем городе не сыщешь! Фрида, отыщи какую-нибудь тряпку да заткни щель в окне».

Фрида старательно затыкает оконную щель, а

я снова тащусь к кровати, исполненная чувства вины и жалости к себе. В постель я ложусь, почти не раздеваясь, и металлические застежки на резинках для чулок больно врезаются мне в ноги, но снять чулки я не решаюсь — без них лежать слишком холодно; я и так с трудом ухитряюсь согреть себе крохотное местечко в форме собственного тела. А потом я даже шевельнуться боюсь, ибо уже в паре сантиметров от границ нагретого места начинается зона холода. Никто со мной не разговаривает, не спрашивает, как я себя чувствую. Но где-то через час или два мать все же подходит ко мне и своими большими грубыми руками начинает с силой растирать мне грудь жгучей мазью «Викс». Я прямо-таки застываю от боли. Мать щедро зачерпывает мазь двумя пальцами и трет, трет мои несчастные ребра, пока я чуть ли сознание не теряю. И в тот самый момент, когда мне кажется, что я не выдержу и сорвусь в крик, мать подцепляет пальцем еще немного мази, сует мне в рот и требует, чтобы эту порцию я проглотила. Затем шею и грудь мне туго обматывают нагретой фланелью. Наваливают на меня несколько тяжелых одеял и велят потеть, что я немедленно и делаю.

А чуть позже меня выворачивает наизнанку,

и мать недовольно ворчит: «Что ж ты прямо на простыни-то блюешь? У тебя что, совсем мозгов не осталось? Не могла голову с кровати свесить? Глянь, что натворила? Думаешь, мне делать больше нечего, кроме как твою блевотину отстирывать?»

Лужица рвоты сползает с подушки на серо-зеленую, с оранжевыми крапинками, простыню. Она переливается медленно, как недоваренное яйцо, которое упорно не желает расползаться и пытается сохранить свою форму. Во всяком случае, эта масса явно не стремится быть поскорее убранной. Странно, думаю я, как это блевотине удается выглядеть одновременно и такой аккуратной, и такой противной?

А мать нудным голосом все продолжает разговаривать, но не со мной, а с блевотиной, и почему-то называет ее моим именем: Клодия. Она тщательно вытирает мерзкую лужу и кладет на мокрое место, оказавшееся довольно-таки обширным, сухое колючее полотенце. Я снова ложусь. Тряпки уже снова вывалились из трещины в оконной раме, из окна дует, в комнате ужасно холодно. Но я не осмеливаюсь ни снова позвать мать, ни встать сама, покинув нагретое местечко. Материн гнев унижает меня; у меня

даже щеки горят от ее слов, и я плачу, не понимая, что сердится мать не на меня, а на мою болезнь. Но мне кажется, что она презирает меня за слабость, за то, что я позволила болезни в меня пробраться. Ничего, вскоре я болеть перестану; попросту откажусь это делать! А пока что я плачу от собственного бессилия, хоть и знаю, что так сопли потекут еще сильнее, но остановиться все равно не могу.

Входит моя сестра. Глаза ее полны сострадания. Она поет: «Когда лиловым полумраком уснувший сад окутан и кто-то вспоминает обо мне в тиши…» Я задремываю, и мне снятся стены сада, сливы и этот «кто-то».

Но действительно ли все было именно так? Неужели и впрямь так болезненно, как мне помнится? Да нет, боль была несильной. Точнее, то была продуктивная и плодоносная боль. Густая и темная, как сироп «Алага», эта любовь-боль просачивалась в окно с потрескавшейся рамой. И я отчетливо чувствовала ее запах и вкус — она была сладка, но чуть отдавала плесенью и имела привкус зимней травы, повсюду проросшей в цокольном этаже нашего дома. Она прилипала — как и мой язык — к оконному стеклу, поросшему инеем. Она грела мне грудь вместе с мазью

«Викс», — а если я во сне ухитрялась размотать фланель, то силуэт этой любви очерчивали отчетливые острые прикосновения холодного воздуха к моему горлу.

И если среди ночи мой кашель становился сухим и особенно мучительным, эта любовь, мягко ступая, входила в комнату, и ее руки заново закрепляли фланель у меня на груди, поправляли одеяло и мимолетно касались моего горячего лба. Так что, думая об осени, я всегда представляю себе эти руки — руки той, которая не хотела, чтобы я умерла.

И мистер Генри появился тоже осенью. Наш жилец. *Наш жилец.*

Эти два слова воздушными шариками слетали с наших губ и парили над головой — безмолвные, отдельные и приятно-загадочные. Непринужденно обсуждая с приятельницами его прибытие, мать выглядела на редкость довольной.

— Вы ж его знаете, — говорила она. — Генри Вашингтон. Он еще с мисс Делией Джонс жил, там, на Тринадцатой улице. Но теперь-то она совсем ку-ку, куда ей за жильцом ухаживать. Вот он и стал себе другое место подыскивать.

— Ну да, ну да, — поддакивали ее подружки, не скрывая своего любопытства.

— Я все думала, сколько он еще у нее-то протянет, — заметила одна. — Говорят, она совсем умом тронулась. Уж и его зачастую не узнавала, да и многих других тоже.

— Это верно. Тот старый грязный негр, с которым она тогда сошлась, ее бедной головушке уж точно не помог.

— А слыхали, что он людям-то рассказывал, когда ее бросил?

— Угу. Что?

— Так ведь сбежал-то он с той никудышной Пегги из Илирии. Ну да вы ее знаете.

— Неужто с одной из девчонок Старой Грязнули Бесси?

— Вот именно! В общем, кто-то у него спросил, с чего это он решил бросить такую хорошую женщину и добрую христианку, как Делия, ради этой телки. Всем ведь известно, что у Делии в доме всегда полный порядок был. А он и говорит; мол, Богом клянусь, но причина только в том, что ему больше не под силу выносить запах фиалковой воды, которой Делия вечно поливается. И прибавил: уж больно она, Делия Джонс, для меня чистая.

— Кобелина старый! Вот ведь гнусность какая!

— И не говори. Ишь, еще и причину выдумал!

— Да никакая это не причина. Кобель он — вот и все. Много их таких.

— Так с ней поэтому удар-то случился?

— Наверняка. Хотя у них в семье, как известно, ни одна из дочерей с юности крепким умом не отличалась.

— Ага, возьмите хоть Хэтти. Ну ту, что вечно улыбалась, помните? Уж она-то точно была с приветом. А их тетушка Джулия и до сих пор по Шестнадцатой улице туда-сюда бродит и сама с собой разговаривает.

— А разве ж ее не забрали?

— Не-а. Округ о ней заботиться не желает. Так и заявили: от нее, мол, никакого вреда нет.

— А по мне так есть! Коли захочешь до смерти перепугаться, чтоб из тебя разом все дерьмо вместе с мозгами выскочило, так встань утречком пораньше, в половине шестого, как я встаю, да посмотри, как эта старая карга мимо твоих окон в своем дурацком чепце проплывает. Господи, помилуй!

Женщины засмеялись.

Мы с Фридой были заняты мытьем банок, и слова женщин были нам почти не слышны, но к разговорам взрослых мы всегда старались прислушиваться и особенно следили за инто-

нациями.

— Надеюсь, мне никто не позволит по улицам слоняться, как она, если я из ума выживу. Это ж позор какой!

— А с Делией-то как поступить собираются? Неужто у нее и родни никакой нет?

— Да вроде бы есть сестра, она из Северной Каролины приехать собирается, чтобы за Делией присматривать. Только, по-моему, она просто ее дом захапать хочет.

— Ох, да ладно тебе! Что это у тебя мысли все какие-то злые? Уж такие злые, прям на редкость.

— А давай поспорим? На что хочешь. Генри Вашингтон говорил, сестра эта к Делии уж лет пятнадцать и носа не казала.

— Я-то, честно сказать, думала, что Генри сам возьмет да и женится на ней.

— На этой старухе?

— Так ведь и Генри, небось, не цыпленочек.

— Не цыпленочек, да только и не канюк.

— А он вообще — был женат? Хоть на ком-нибудь?

— Нет.

— Как же это? Или ему кто дорогу перебежал?

— Просто чересчур разборчивый, видно.

— Да никакой он не разборчивый! Ты сама-то

вокруг погляди — видишь хоть одну, на которой жениться можно?

— Пожалуй, что и нет.

— Вот именно. Просто он человек разумный. Спокойный. Работает себе. Да и вообще тихо себя ведет. Надеюсь, у тебя с ним все хорошо получится.

— И я так думаю. А ты сколько с него брать-то будешь?

— По пять долларов за две недели.

— Это тебе большая подмога выйдет.

— Там посмотрим.

Их разговор был похож на осторожный, но шаловливый танец: звуки как бы встречались друг с другом, приседали, колебались и снова отступали. Затем в круг входил еще один звук, но следующий, четвертый, его опережал, и эти двое тоже начинали кружить друг вокруг друга, а потом останавливались.

Иногда слова женщин словно завивались ввысь по спирали, а иногда двигались как бы резкими прыжками, и все их разговоры, точно знаками препинания, были разграничены теплым пульсирующим смехом, похожим на биение сердца и дрожащим, как желе. Острые края, резкие повороты, где и осуществлялся основной выброс

их эмоций, мы с Фридой всегда сразу замечали, хоть и не понимали, да и не могли понять смысл всех сказанных ими слов, ведь одной из нас тогда было всего девять, а второй десять лет. Так что мы следили за их лицами, руками и даже за их ногами, стараясь уловить самое главное благодаря интонациям и самому тембру их голосов.

Так что, когда мистер Генри действительно появился у нас в субботу вечером, мы первым делом к нему принюхались. Надо сказать, пахло от него замечательно. Слегка лимонным кремом для бритья и маслом для волос «Ню Нил», и эти запахи смешивались с пряным ароматом «Сен-Сен»[1].

Он много улыбался, показывая мелкие ровные зубы с дружелюбной, как привет из детства, щелочкой посредине. Нас с Фридой ему не представили — на нас просто указали. Примерно так: здесь у нас ванная, а это шкаф для одежды, а это мои дети, Фрида и Клодия; осторожней с этим окном — оно полностью не открывается.

Мы украдкой поглядывали на мистера Генри, но и сами помалкивали, и от него никаких слов не ждали. Мы думали, он просто кивнет, как когда ему показывали, в каком шкафу можно

---

[1] Примечания: 1

Пастилки для освежения дыхания. — *Здесь и далее прим. пер.*

хранить одежду, в знак того, что признает наше существование, но, к нашему удивлению он вдруг с нами заговорил.

— Привет, привет! Ты, должно быть, Грета Гарбо, а ты Джинджер Роджерс[2]. — Мы захихикали. Даже наш отец был настолько удивлен, что невольно улыбнулся. — Хотите пенни?

Он протянул нам блестящую монетку. Фрида смущенно потупилась; она была слишком довольна, чтобы с легкостью ответить. А я протянула руку и хотела взять пенни, но мистер Генри щелкнул большим и указательным пальцем, и пенни исчез. Этот фокус буквально потряс нас обеих и одновременно привел в восторг. Забыв об осторожности, мы принялись обыскивать мистера Генри; даже в носки ему пальцы совали и ощупывали подкладку его пальто. И если счастье — это предвкушение, смешанное с уверенностью, то мы были абсолютно счастливы. И пока мы обыскивали нашего гостя, ожидая, что монетка все-таки появится снова, мы чувствовали, что невольно развлекаем и своих родителей. Папа

[2] Примечания: 2

Грета Гарбо (1905–1990) — знаменитая американская киноактриса, «звезда Голливуда» в амплуа загадочной, роковой женщины. Джинджер Роджерс (1911–1995) — американская актриса и танцовщица. Во многих фильмах ее партнером был знаменитый Фред Астер.

вовсю улыбался, да и у мамы взгляд помягчел, когда она смотрела, как наши ручонки шныряют по всему телу мистера Генри.

Мы в него сразу влюбились. И даже после того, что случилось позже, наши воспоминания о нем не были окрашены горечью.

* * *

Она спала с нами в одной постели. Фрида с краю, потому что она храбрая — ей никогда и в голову не приходило, что если во сне ее рука свесится с кровати, то в темноте может выползти «нечто» и откусить ей пальцы. Я у стенки, потому что мне подобные жуткие мысли часто в голову приходили. Ну и Пиколе, естественно, приходилось спать посередке.

За два дня до этого мама сказала нам, что есть, мол, некие «обстоятельства» — одной девочке жить негде, вот окружной суд и решил на несколько дней поселить ее у нас, а уж потом они решат, что с ней делать дальше, а может, тем временем и семья ее воссоединится. Нам велели обращаться с этой девочкой хорошо и ни в коем случае с ней не драться. Мама сказала, что просто не представляет себе, «что это с людьми происходит», ведь «этот старый кобель Бридлав»

сжег собственный дом, чуть не укокошил жену, и в результате вся семья оказалась на улице.

Мы прекрасно знали, что *оказаться на улице* — это самое ужасное, хуже просто и быть не может. Кстати, угроза оказаться на улице в те времена возникала частенько. Ею сопровождалось любое, даже самое минимальное нарушение правил. Если кто-то слишком много ел, он вполне мог закончить свои дни под забором. На улице мог оказаться и тот, кто расходовал слишком много угля. К тому же могли привести и азартные игры или пьянство. А иной раз матери сами выставляли своих сыновей на улицу, и если такое случалось, то — вне зависимости от совершенного тем или иным сыном проступка — всеобщее сочувствие всегда было на его стороне. Он *оказался на улице*, и так поступила с ним родная мать! Если тебя выставил на улицу хозяин квартиры — это одно; это попросту невезение, но над этой стороной жизни у тебя власти нет, ибо ты не всегда можешь контролировать собственные доходы. Но уж дойти до такой расхлябанности, чтобы тебя выставили на улицу родные, или же проявить такую бессердечность, чтобы собственными руками выгнать из дома родного сына, — подобные вещи воспринимались почти

как преступления.

Кстати, была большая разница между понятиями «быть изгнанным из дома» и «оказаться на улице». Если тебя *выгнали* из дома, ты можешь что-то предпринять, куда-то еще пойти; если же ты *оказался* на улице, тебе идти уже некуда. Разница трудноуловимая, но безусловная. *Оказаться на улице* — это конец, необратимый физический факт, определяющий и дополняющий наше метафизическое состояние. Будучи в меньшинстве, как в кастовом, так и в классовом отношении, мы в любом случае существовали где-то на краю жизни и изо всех сил старались консолидировать свои слабые силы и продержаться или поодиночке заползали куда-то повыше, в складки одеяния Высшего существа. Мы, впрочем, уже научились как-то выживать на периферии — возможно, потому, что «периферия» была понятием абстрактным. А вот понятие «оказаться на улице» было вполне конкретным и понятным — примерно таково было для нас, например, отличие концепции смертности от реальной возможности стать мертвым. Мертвые не меняются, а те, кто оказался на улице, так там и остаются.

Понимание того, что перспектива оказаться на улице вполне реальна, привело к тому, что мы

постоянно испытывали жажду обладать чем-то, жажду владеть. Жажду твердой уверенности, что это наш двор, наше крыльцо, наша виноградная лоза. Имеющие собственность чернокожие готовы были тратить все свои силы, всю свою любовь на укрепление родного гнезда. Точно обезумевшие, доведенные до отчаяния птицы, они вечно суетились и буквально тряслись над своим жилищем, завоеванным ими с таким трудом; они чрезмерно украшали свои домишки; они все лето солили, мариновали и консервировали, чтобы заполнить рядами банок кладовые и полки на кухне; они то и дело что-то подкрашивали и подмазывали, не пропуская ни единого уголка. Их *частные* дома высились, точно оранжерейные подсолнухи среди сорняков, ибо именно сорняком выглядело по сравнению с частным домом любое арендованное жилье. Чернокожие, вынужденные снимать квартиру, поглядывали украдкой на чьи-то *собственные* дворы и веранды и с каждым разом все тверже клялись себе, что когда-нибудь тоже непременно купят «какой-нибудь симпатичный старый домик». А пока старались приберечь и сэкономить каждый грош, обитая в своих арендованных норах, и не оставляли надежду, что вскоре все же наступит

день, когда и они сумеют обзавестись настоящей собственностью.

Таким образом, Чолли Бридлав, будучи чернокожим, проживая в арендованной квартире и вынудив свою семью оказаться на улице, сам себя отбросил за пределы человеческого к нему отношения. Своим поступком он как бы приравнял себя к животным; да собственно, наши соседки и так называли его то «старым кобелем», то «ядовитой змеей», то «жалким ниггером». Миссис Бридлав стала жить у своей белой хозяйки, где и до этого вела всю домашнюю работу, мальчика Сэмми взяла к себе еще какая-то семья, а Пиколу поселили к нам. Сам же Чолли оказался в тюрьме.

У нас Пикола объявилась буквально с пустыми руками. Ни бумажного пакета со сменной одеждой, ни ночной рубашки, ни хотя бы выцветших хлопчатобумажных спортивных брюк. Она просто возникла на пороге в сопровождении какой-то белой женщины и сразу же села.

А впрочем, те несколько дней, что Пикола у нас гостила, жили мы очень весело. Мы с Фридой перестали драться и полностью сосредоточились на нашей новой подруге, очень стараясь, чтобы она не чувствовала себя выброшенной на улицу.

Почти сразу стало ясно, что Пикола определенно не намерена нами командовать, и мы тут же ее полюбили. Она смеялась, когда я кривлялась, как клоун, стараясь ее развеселить, и очень мило улыбалась, когда моя сестра совала ей что-нибудь вкусненькое.

— Хочешь печенья?

— Я даже не знаю…

Но Фрида все-таки принесла ей на блюдечке четыре крекера и налила молока в чашку с портретом Ширли Темпл[3]. Пикола медленно прихлебывала молоко, с любовью поглядывая на затертое и словно покрытое ямками лицо Ширли. Они с Фридой долго восторгались тем, какая Ширли Темпл классная. А я тихо злилась, потому что эту Ширли ненавидела. И не потому, что она была такая классная, а потому, что танцевала на экране с Боджанглзом[4], который был для меня и другом, и дядей, и отцом и которому давно следовало бы послать эту Ширли куда подальше

---

[3] Примечания: 3

Ширли Темпл (1928–2014) — американская актриса; стала первым в истории кино ребенком-актером и получила в 1934 г. Молодежную награду Академии; наиболее известна своими детскими ролями в образе очаровательной голубоглазой кудряшки.

[4] Примечания: 4

Билл (Боджанглз) Робинсон (1877–1949) — знаменитый чернокожий американский танцор-степист и актер первой половины XX века. Исполнял танцевальные номера в фильмах с участием Ширли Темпл.

и посмеяться вместе со мной.

Но он никуда ее не посылал, а наслаждался обществом этой голубоглазой куколки и весело исполнял с ней очаровательный танец — естественно, она ведь была одной из тех белых девочек, у которых носки никогда не сползают под пятки. Так что я, окончательно разобидевшись, заявила: «А мне больше нравится Джейн Уизерс![5]» Фрида и Пикола озадаченно на меня посмотрели. Потом решили, видно, что на меня просто что-то нашло, и продолжили восхищаться потертой Ширли, словно подмигивавшей им с кружки.

Я, конечно, была младше их обеих — и Фриды, и Пиколы — и еще не достигла в своем психическом развитии того поворотного момента, который позволил бы и мне обожать Ширли. Так что пока я испытывала к ней лишь чистейшую ненависть. Но до этого мне довелось испытать еще более странное, прямо-таки пугающее чувство; и это была не просто ненависть ко всем Ширли Темпл на свете.

А началось все на Рождество, когда нам обычно дарили новых кукол. Самым лучшим, выбран-

---

[5] Примечания: 5

Джейн Уизерс (р.1926) — актриса, в кино с трех лет, лауреат премии «Юный артист».

ным с особой любовью подарком считалась большая голубоглазая кукла, при виде которой взрослые всегда так цокали языком, что нетрудно было догадаться: с их точки зрения, эта кукла, безусловно, воплощает самое заветное желание любой маленькой девочки. Только насчет меня они ошибались: меня смущала и сама кукла, и то, как она выглядит. И потом, я просто не знала, как к ней относиться. Притворяться, что я ее мама? Но младенцы были мне совершенно не интересны; не интересовал меня, впрочем, и вопрос материнства. Мне были интересны только люди моего собственного возраста и размера, и у меня не вызывала ни малейшего энтузиазма перспектива даже в самом далеком будущем стать матерью. Материнство — это же почти старость! Во всяком случае, утешала я себя, это весьма отдаленная перспектива. Я довольно быстро поняла, чего от меня ожидают взрослые: я должна была прийти в восторг и тут же начать укачивать куклу, придумывать разные истории с ее участием, спать с ней в обнимку. На картинках в детских книжках вечно изображались маленькие девочки, спящие в кроватке с любимой куклой. У них, правда, любимыми были тряпичные куклы, но мне таких не дарили; об этом и речи быть не могло. А

сама я, признаюсь, испытывала к таким куклам прямо-таки физическое отвращение и втайне даже боялась их круглых тупых глаз, круглого, как лепешка, лица и волос цвета апельсиновых гусениц.

Но и «настоящие», не тряпичные, куклы, которые, как считали взрослые, должны были доставить мне огромное удовольствие, вполне успешно приводили к обратному результату. Если я все же брала такую куклу с собой в постель, ее твердые негнущиеся конечности словно отпихивали меня, а сама кукла царапала меня своими пухлыми, в ямочках, руками с отчетливо видимыми ноготками. Казалось, она тоже хочет сказать: «Я тебя тоже не люблю!» Поворачиваясь во сне, я то и дело натыкалась на ее холодную, как мертвая кость, голову. Спать с таким потенциально агрессивным партнером было неприятно и на редкость неудобно. Впрочем, и обниматься с этой куклой тоже радости было мало; особенно неприятным казалось прикосновение ее платья из жесткого накрахмаленного газа или хлопка, отделанного колючими кружевами. Эта кукла могла вызвать у меня только одно воодушевляющее желание: расчленить ее и посмотреть, из чего она сделана. Чтобы воочию убедиться, что

же в ней вызывает всеобщую любовь. И потом, мне хотелось понять, в чем ее красота, почему других девочек она приводит в восторг, а мне ну ни капельки не нравится. Хотя, похоже, подобные чувства были свойственны лишь мне одной. Абсолютно все вокруг — и взрослые, и малышня, и девочки постарше (и о том же буквально кричали витрины магазинов, всевозможные журналы, газеты и рекламные щиты) — были убеждены, что для любой девочки нет дороже подарка, чем такая вот голубоглазая желтоволосая кукла с нежно-розовой кожей. «Ну вот, это тебе, — говорили мне взрослые. — Правда, красивая кукла? Если сегодня ты и правда хорошо себя вела, то можешь ее взять: это подарок». Я обводила пальцем ее лицо, удивляясь, как изящно, одним мазком, нарисованы у нее брови; ковыряла ногтем жемчужные зубки, торчавшие, точно клавиши пианино, между приоткрытыми губами, ярко-красными и изогнутыми, как «лук Амура»; трогала ее вздернутый носик; тыкала в стеклянные голубые глаза; накручивала на палец странные желтоватые волосы. Нет, полюбить ее я решительно не могла! Зато могла подолгу ее изучать, пытаясь все же понять, что именно в ней называют «прелестным». Я могла

по одному отламывать крошечные пальчики, откручивать плоские ступни, клоками выдирать волосы и, наконец, открутить голову — но на все эти издевательства несчастная безжизненная «красотка» реагировала одинаково: издавала жалобный звук, который, согласно всеобщему мнению, означал нежный зов «Мама!», но мне казался куда больше похожим на предсмертное блеяние ягненка или, точнее, на скрип ржавых петель на дверце нашего старого холодильника, когда пытаешься его, обледенелый, открыть в середине июля.

Если я выковыривала у нее глаз, холодный, но сохраняющий все то же безнадежно тупое выражение, кукла опять жалобно блеяла: «А-а!» Можно было оторвать ей голову, вытряхнуть из нее опилки, расплющить туловище о бронзовую кроватную раму — и она опять издавала в точности такой же жалобный скрип. Когда от ударов по кроватной раме расщеплялась затянутая металлической сеткой спинка куклы, становился виден диск с шестью дырочками. Вот она, тайна ее «умения говорить»! Просто какой-то металлический кругляшок.

Взрослые, разумеется, тут же начинали хмуриться и возмущаться: «Ты-ничего-беречь-не

умеешь! Вот-у-меня-никогда-в-жизни-не-было-такой-куклы-я-все-глаза-из-за-нее-выплакала-а-тебе-такую-красивую-куклу-подарили-и-ты-ее-в-клочья-разодрала-что-это-с-тобой-такое?»

Да, они ужасно сердились, эти взрослые! Хотя в их голосах сквозил не только гнев, но и совсем иные эмоции: слезы, грозившие смыть всю их высокомерную отчужденность, и давние страстные детские мечты, так и оставшиеся неудовлетворенными. Я и сама не понимала, почему ломаю эти куклы. Но всегда помнила, что никто ни разу не спросил у меня, какой подарок я бы хотела получить на Рождество. Если бы хоть кто-то из взрослых — из тех, кто был способен тогда исполнить почти любое мое желание, — отнесся ко мне с вниманием и попытался выяснить, чего же я на самом деле хочу, он бы узнал, что мне совсем не хочется ничем ни *владеть*, ни *обладать*. В Рождество мне, пожалуй, больше всего хотелось что-то *почувствовать*. И тогда правильный вопрос мог бы звучать так: «Дорогая Клодия, какие чувства ты хотела бы испытать на Рождество?» И я бы ответила: «Мне бы хотелось почувствовать, будто я сижу на скамеечке в кухне у бабушки, нашей Большой Мамы, а на коленях у меня лежит целая охапка сирени, и Большой Папа играет на

скрипке только для меня одной». Да, именно так: низенькая скамеечка, сделанная специально для меня, малышки, ощущение полной безопасности, тепло бабушкиной кухни, аромат сирени, звуки музыки и в придачу — поскольку хорошо бы задействовать и остальные органы чувств — вкус и аромат персика.

Вместо этого я чувствовала кислый вкус и запах жестяных тарелок и чашек, почему-то используемых для чайных церемоний и вгонявших меня в тоску. Вместо этого я с отвращением взирала на очередное новое платье, непременно требовавшее ненавистного купания в эмалированной ванне, прежде чем мне разрешат его надеть. Вертясь в ванне и не имея возможности ни поиграть, ни просто как следует помокнуть, потому что вода остывала как-то чересчур быстро, ни хотя бы насладиться собственной наготой, я успевала только смыть с себя слой мыльной пены, затекающей между ногами. За этим неизбежно следовало прикосновение колючего полотенца, ужасное, унизительное ощущение полного отсутствие грязи и раздражающе примитивное ощущение чистоты. С ног и лица исчезали чернильные пятна, исчезали все те сокровища, которые я сумела сотворить и собрать за день. И все это сменялось

гусиной кожей.

Да, я уничтожала белых кукол-младенцев.

Но расчленение кукол — это еще не самое страшное. Куда страшнее то, что такие же позывы у меня возникали и при виде маленьких белых девочек. Равнодушие, с каким я могла бы порубить на куски их тела, было, пожалуй, даже хуже желания выяснить, наконец, что же у них внутри, выведать тайну тех чар, которыми они оплели всех вокруг, узнать, почему люди смотрят на них и вздыхают от восхищения, а на меня и не глядят. Ах, каким мягким и нежным становился брошенный вскользь взгляд той или иной чернокожей женщины, когда она сталкивалась с такой девочкой на улице; как ласково, с пылом собственниц, прижимали они к себе белых младенцев!

Если мне удавалось украдкой ущипнуть такого малыша, то он жмурился от боли и из его глаз начинали катиться самые настоящие слезы, да и сами глаза у него блестели совсем иначе, чем бессмысленные круглые глаза игрушечных младенцев, а плач ничуть не походил на скрип ржавых петель, ибо в нем слышалось самое настоящее страдание. Когда я поняла, как отвратительно совершаемое мной и полностью лишенное смыс-

ла насилие, я просто не знала, куда деваться от стыда. И самым лучшим убежищем оказалась любовь. Так осуществилась метаморфоза исходного садизма в вымышленную ненависть, а затем в обманную любовь. Это был маленький шажок к Ширли Темпл. Гораздо позже я в какой-то степени даже стала ее поклонницей; примерно тогда же я научилась радоваться ощущению чистоты, но, еще только учась этому, я уже понимала: это лишь чисто внешние улучшения, а отнюдь не путь к достижению совершенства.

* * *

«Три кварты молока. Еще вчера в леднике было три полных кварты, а сейчас что? Ни капли! Я ж не против: заходи на кухню, бери что хочешь, но целых три кварты молока! На кой черт кому-то могли понадобиться целых три кварты? Что с ними делать-то?»

Эти слова были явно адресованы Пиколе. Мы втроем — Пикола, Фрида и я — сидели наверху и слушали, как мать внизу, на кухне, чем-то гремит, сердясь из-за того, что Пикола умудрилась выпить столько молока. Мы-то знали: Пиколе просто очень нравится чашка с Ширли Темпл и она пользуется любой возможностью, чтобы

выпить из этой чашки молока или хотя бы просто подержать ее в руках и полюбоваться прелестным личиком Ширли. Но маме было известно, что мы с Фридой молоко просто ненавидим, и она, должно быть, пришла к выводу, что три кварты молока Пикола выпила исключительно из жадности. Ну а нам, разумеется, «пререкаться» с матерью вовсе не хотелось. Мы вообще никогда первыми в разговор со взрослыми не вступали, стараясь лишь отвечать на их вопросы.

Вот и сейчас, стыдясь тех оскорблений, которые так и сыпались на голову нашей новой подруги, мы продолжали бездействовать и просто сидели, затаившись. Я ковыряла мозоль на ноге, Фрида обкусывала заусеницы, а Пикола молча водила пальцем по старым шрамам на коленке, склонив голову набок. Нас всегда раздражали и подавляли подобные гневные монологи матери, бесконечные, оскорбительные и безличные (никаких конкретных имен она никогда не называла — в ее монологах фигурировали просто «люди» или «некоторые»), а кое-какие ее едкие замечания мы обе и вовсе воспринимали на редкость болезненно. Мать могла часами вот так изливать душу, связывая один проступок «некоторых» с другим, пока не выплевывала наружу все наболевшее.

Затем, наконец-то выговорившись, она принималась петь и пела уже до самого вечера. Однако до начала «певческого отделения» концерта должно было пройти немало времени. Приходилось сидеть и все это слушать, и в итоге от стыда у нас начинало сосать под ложечкой, а шея горела огнем, и мы, стараясь не смотреть друг на друга, хватались за что придется — кто за мозоль на ноге, а кто за заусеницы.

А до нас доносилось: «...Ну я просто не знаю, у меня что тут, ночлежка или приют какой? Пора мне, видно, перестать другим отдавать, надо и самой брать. Вряд ли мне на роду написано нищей помереть. А все ж таки дни свои я, небось, в приюте для бедняков закончу. И, похоже, ничто меня от этого не спасет. Тем более *некоторые* только и думают, как бы им меня поскорее в приют сплавить. Как будто у меня забот мало, так мне еще и лишний рот прокормить предлагают, а оно мне нужно? Да не больше, чем кошке боковые карманы! Мне бы своих прокормить да не дать их в приют отправить, так у меня еще кое-кто в доме завелся да за раз столько молока выпивает, словно прикончить меня собрался. Ну теперь-то я этому конец положу! Сил у меня пока что, слава богу, хватает, да и язык на месте. Нет уж, всему

есть предел! А лишнего у меня в доме никогда не было. И как это *некоторые* ухитряются за раз три кварты молока вылакать? Разве Генри Форд может такое себе позволить? Это ж просто обпиться можно. Нет, я, конечно, всегда рада людям помочь, сделать все, что в моих силах. Этого никто, небось, отрицать не станет. Но *такое* я в своем доме терпеть не стану. Библия велит за своими детьми присматривать, а не только Богу молиться. А то *некоторые* вышвырнут детей из дома, как мусор какой, да тебе их подкинут, а сами своими делами занимаются. Разве ж хоть кто из *людей* заглянул к нам, чтоб убедиться, есть ли у *этого* ребенка кусок хлеба? Не-ет, им, похоже, это неинтересно. Разок заглянули, увидели, что *у меня-то* всегда кусок хлеба найдется, чтоб ребенка накормить, — и только их и видели. Да что там говорить! А этот старый кобель Чолли уж два дня, как из тюрьмы вышел, а сюда и носа не кажет! Не больно-то ему интересно, жива его дочка или нет. Ведь вполне могла умереть, а он бы и не узнал ничего. Да и мать ее тоже хороша! Словно ей до девочки и дела нет. Нет, что ж это такое на свете творится, скажите на милость, добрые люди?»

Обычно, когда мама добиралась до Генри Форда

и «некоторых», кому все равно, есть ли у нее самой кусок хлеба, это служило для нас сигналом, что пора уходить. Мы предпочитали пропустить следующую часть ее монолога — насчет Рузвельта и лагерей для уголовников.

На этот раз Фрида встала первой и стала потихоньку спускаться по лестнице; мы с Пиколой пошли за ней. Внизу мы по широкой дуге, стараясь держаться подальше от двери на кухню, выбрались на крыльцо и устроились на ступеньках — туда долетали лишь отдельные слова материного нескончаемого монолога.

Унылая то была суббота. В доме пахло нафталиновыми шариками от моли, а из кухни тянуло тушеными овощами и горчицей. Субботы всегда вызывали у меня тоску и были связаны со всевозможными стычками из-за мытья с мылом. Вторыми по тоскливости были воскресные дни — с тесной накрахмаленной одеждой, каплями от кашля и бесконечными «не смейте», «да успокойтесь же, наконец!» и «сидите тихо».

Хотя, если у матери возникало желание попеть, было все-таки не так скучно. Она пела о тяжелых временах, о плохих временах и о тех временах, когда кто-то «кое-что натворил и сбежал, а меня оставил». Но голос ее звучал так красиво, а глаза

смотрели так нежно и ласково, что я невольно начинала мечтать, чтобы снова наступили «тяжелые времена», чтобы я стала взрослой, но «даже жалкого гро-о-ша за душой не имела». Я мечтала о том чудесном будущем, когда и меня «мой мужчина оставит», когда и мне «ненавистны станут эти закаты…», потому что именно на закате дня «мой мужчина наш город покинул». Описываемые в песнях страдания, окрашенные голосом моей матери в цвета нежности и тихой грусти, словно лишались своей горечи, и я все сильней убеждалась, что страдания эти не только вполне терпимы, но и не лишены определенной сладости.

Если песен не было, то субботы обрушивались нам на голову точно ведра с углем, с которыми мы совершали свои опасные походы вдоль железнодорожных путей, а уж когда мама была не в духе, как сейчас, то казалось, будто кто-то швыряет камнями в наше ведерко с углем.

«…а ведь и я нищая, как миска с таком. За кого *эти люди* меня принимают? Они что, думают, я навроде Сэнди Клауса? Ну так пусть снимают свои рождественские чулки, потому что сейчас никакое не Рождество…»

Мы нервно завозились на крыльце, и Фрида

сказала:

— Ну что, давайте что-нибудь делать?

— А что ты хочешь делать? — спросила я.

— Не знаю. Ничего. — И Фрида уставилась куда-то на верхушки деревьев.

Пикола по-прежнему сидела, потупившись, и изучала собственные ступни.

— Может, нам подняться в комнату мистера Генри и посмотреть его журналы с девушками? — предложила я, и Фрида тут же скорчила мне рожу. Она не любила рассматривать «грязные картинки».

— Ну, тогда, — продолжала я, — можно посмотреть его Библию. Она красивенькая.

Фрида втянула воздух между зубами и издала презрительное «пф-ф-ф».

— Ну, тогда можно пойти к той подслеповатой тетеньке и вдевать для нее нитку в иголку. Она нам пенни даст.

Фрида фыркнула и сказала:

— Да у нее глаза как сопли! Мне на них даже смотреть противно. А ты, Пикола, чем хочешь заняться?

— Мне все равно, — ответила Пикола. — Чем хотите.

И тут у меня появилась новая идея:

— Можно пройти чуть дальше по нашей улице и покопаться в мусорных баках.

— Слишком холодно, — тут же возразила Фрида. Она вообще была какая-то сердитая, раздраженная.

— Я придумала: можно пойти и сварить сахарную помадку!

— Ты что? Ведь на кухне мама, да еще в таком настроении! Сама ведь знаешь: уж если она из-за какой-то ерунды на стенку полезла, значит, это на весь день. Да и не пустит она нас на кухню.

— Тогда давайте пойдем к греческому отелю и послушаем, какими неприличными словами они там ругаются.

— Ну и кому это надо? — скривилась Фрида. — Да и слова-то у них все одни и те же.

Исчерпав весь свой запас предложений, я сосредоточилась на белых пятнышках, проступавших у меня на ногтях. Считалось, сколько у тебя белых пятнышек, столько и ухажеров будет. Я насчитала семь.

Мамин бесконечный монолог временно сменился тишиной, потом до нас снова донеслось: «…а в Библии говорится: накорми голодного. Что ж, это хорошо. Правильно. Я готова, так ведь не слона же, верно? А *некоторые*, кому каждый день

три кварты молока подавай, пусть другое место ищут. Не туда они попали. Что у меня здесь, молочная ферма, что ли?..»

Пикола вдруг резко вскочила и выпрямилась, как штырь. Потом с вытаращенными от ужаса глазами испустила жалобный стон. Фрида тоже вскочила:

— Что с тобой?

И мы дружно посмотрели туда, куда неотрывно смотрела сама Пикола. Все ноги у нее были в крови, кровь по ним так и струилась. И на ступеньке уже собралась лужица крови. Я подскочила к ней.

— Ты что, порезалась? Смотри, у тебя все платье сзади перепачкано!

На попе у Пиколы расплылось большое красно-коричневое пятно. Сама она по-прежнему стояла неподвижно, широко расставив ноги и тоненько подвывая.

— О господи! — сказала Фрида. — Я поняла! Я знаю, что это такое!

— Что? — Пикола в ужасе прижала пальцы к губам.

— Это министрация!

— А что это?

— Сама знаешь.

— Я что, умру? — дрожащим голосом спросила Пикола.

— Да не-е-ет. Не умрешь. Просто у тебя теперь может быть ребенок!

— Как это?

— Откуда ты знаешь? — Меня просто тошнило от этой всезнайки Фриды!

— Мне Милдред рассказывала, и мама тоже.

— Я тебе не верю!

— Да и не верь, тупица! Слушайте, подождите-ка вы меня здесь. Ты, Пикола, сядь вот сюда и сиди. — Фрида выглядела на редкость авторитетной и деловитой. — А ты, — велела она мне, — пока за водой сходи.

— Вода-то зачем?

— Давай-давай! Ты что, совсем дура? Не знаешь, зачем вода? Да смотри: тихо, иначе мама услышит.

Пикола послушно уселась, но смотрела, пожалуй, уже не так испуганно. Я потащилась на кухню.

— Тебе чего, девочка? — Мать прямо в раковине стирала кухонные занавески.

— Мне водички, мэм.

— И вода тебе, конечно, понадобилась именно тогда, когда я тут делом занята. Ладно, возьми

стакан. Нет, чистый не бери. Возьми лучше вон ту банку. — Я взяла банку и набрала в нее воды из-под крана. Вода почему-то текла страшно медленно, а может, мне так показалось. — Вот ведь интересно: никому ничего не надо, но как только *некоторые* увидят, что у меня раковина занята, так тут им всем сразу воды из-под крана подавай… — Наконец банка наполнилась, и я попыталась дать задний ход, но мать не дала мне выбраться из кухни: — Ты куда это?

— На улицу.

— Пей прямо здесь!

— Да не разобью я твою банку!

— Кто тебя знает?

— Да уж я знаю, мэм, знаю! Ну, мам, можно, я эту банку на улицу вынесу? Я, честное слово, ничего не пролью и не разобью.

— Ну, смотри…

Когда я с полной банкой выскочила на крыльцо, Пикола сидела и плакала.

— Ты почему плачешь? Тебе что, больно?

Она покачала головой.

— Тогда перестань сопли развешивать!

Из задней двери вынырнула Фрида. Она явно что-то прятала под кофтой. Увидев меня, она удивленно спросила, ткнув пальцем в банку:

— Это еще что?

— Ты же сама сказала: принеси воды.

— Ну не в баночке же, тупица! Чтобы ступеньки отмыть, много воды нужно.

— Откуда мне знать, что ты крыльцо мыть собираешься?

— Оттуда! Нет, ты все-таки полная тупица. Идем. — Она потянула Пиколу за руку. — Идем-идем. Вон туда, за дом. — И они направились в густые кусты за углом.

— Эй, а как же я? — возмутилась я. — Я тоже с вами хочу!

— Да заткнисссь ты — мама услышит! — театральным шепотом прошипела Фрида. — Лучше пока ступеньки вымой.

И они исчезли за углом.

Это что же, опять придется пропустить что-то важное? Сколько же можно! Почему всегда именно я должна быть последней? Почему я должна торчать в заднем ряду, где ничего не видно? Я вылила воду на испачканную ступеньку, быстренько размазала лужу башмаком и бегом бросилась догонять девчонок.

В кустах Фрида опустилась на колени и принялась стаскивать с Пиколы штанишки; рядом на земле лежал белый прямоугольный хлопчатобу-

мажный лоскут.

— Ну же, подними ногу! Подними и просто переступи через них.

Наконец у нее все получилось, и она швырнула грязные штаны мне.

— Возьми-ка.

— И что мне с ними делать?

— В землю закопай, тупица.

Фрида велела Пиколе зажать свернутую в несколько рядов тряпицу между ногами, и я, разумеется, тут же спросила:

— Как же она теперь ходить-то будет?

Но Фрида даже ответом меня не удостоила. Молча отцепила от собственного подола две английские булавки и принялась прикалывать тряпицу к платью Пиколы.

А я, двумя пальцами подняв испачканные штанишки, озиралась в поисках подходящего орудия, чтобы выкопать ямку, и тут мое внимание привлекли непонятные шорохи в кустах. Я мгновенно повернулась в ту сторону и заметила среди листвы два блестящих от любопытства глаза и белое, как недопеченная оладья, лицо Розмари. Значит, эта противная девчонка за нами следила! Я мгновенно цапнула ее за нос и, по-моему, даже слегка его оцарапала. Розмари

ойкнула, отскочила в сторону и заверещала:

— Миссис Мактир! Миссис Мактир! А Фрида и Клодия в грязные игры играют! Миссис Мактир!

Мама открыла окно и посмотрела на нас сверху:

— Что тут еще?

— Они в грязные игры играют, миссис Мактир! Сами посмотрите. А Клодия меня ударила, потому что я их заметила!

Мама с грохотом захлопнула окно и через мгновение вылетела из задней двери во двор.

— Чем это вы тут занимаетесь? Всякими гадостями, да? — Она нырнула в заросли, сломав по дороге прут. — По мне так лучше свиней выращивать, чем таких мерзких девчонок. Свиней хоть зарезать можно!

Мы дружно завизжали:

— Нет, мама! Нет, мэм! Ни в какие грязные игры мы не играем! Все она врет! Нет, мэм! Правда, мам, не играли! Нет, мэм! Нет!

Мама схватила Фриду за плечо, повернула ее кругом и раза три-четыре больно стеганула по ногам.

— Хочешь стать уличной девкой, да? Ну так станешь!

Фрида выглядела совершенно уничтоженной.

Незаслуженные удары хлыстом были не только болезненными, но и оскорбительными.

Но мама уже повернулась к Пиколе:

— Ты сейчас тоже получишь! — пригрозила она. — И наплевать, мой ты ребенок или не мой! — Она схватила Пиколу, резко ее развернула, и тут спасительная булавка отстегнулась и из-под платья выползла окровавленная тряпица. Мама растерянно заморгала глазами, хлыст в ее руке так и застыл. — Какого черта? Что тут происходит?

Фрида зарыдала. Я, уже готовившаяся в свою очередь принять наказание, принялась торопливо объяснять:

— У нее кровь сильно текла. Мы просто хотели кровь остановить!

Мама повернулась к Фриде в поисках подтверждения, и та кивнула:

— Ну да, у нее министрация. А мы ей просто помочь хотели.

Мама тут же отпустила Пиколу и некоторое время молча смотрела на нее. Затем она притянула ее и Фриду к себе, прижимая их головы к своему животу. Глаза у нее были виноватые.

— Ну, хорошо, хорошо. Ну, довольно плакать. Я же не знала. Ну, хватит, хватит. Идемте-ка в

дом. И ты, Розмари, тоже домой ступай. Концерт окончен.

Мы потащились в дом — всхлипывающая Фрида, Пикола с белым хвостом, торчащим из-под платья, и я с перепачканными штанишками этой девочки-ставшей-женщиной в руках.

Мама сразу затолкнула Пиколу в ванную, забрала у меня ее штаны и закрыла за собой дверь. Было слышно, как плещет льющаяся в ванну вода.

— Как ты думаешь, может, она ее утопить решила?

— Ну и дура ты, Клодия! Она просто хочет ее вымыть и одежки ее выстирать.

— Может, нам тогда Розмари побить?

— Нет. Оставь ее в покое.

Шум льющейся воды стал еще сильнее, но он не мог заглушить чудесную музыку маминого смеха.

Той ночью мы лежали в постели очень тихо, почти неподвижно, исполненные благоговейного трепета: у Пиколы была самая настоящая министрация! Она казалась нам очень взрослой и почти святой. Пикола, видно, и сама чувствовала нечто подобное, но командовать нами все равно не собиралась, несмотря на то что заняла в нашей

компании куда более высокое положение.

Она довольно долго лежала молча, потом очень тихо спросила:

— А что, я теперь взаправду могу ребеночка родить?

— Конечно, можешь, — сонным голосом откликнулась Фрида. — Еще бы.

— Но… как? — Пикола, похоже, была настолько потрясена, что голос ее не слушался и звучал невыразительно.

— Ой, ну для начала тебя кто-то полюбить должен, — сказала Фрида.

— Ах так…

И Пикола снова надолго замолчала, обдумывая ответ Фриды. Я тоже размышляла на эту тему. Мне казалось, что в этом наверняка должен будет участвовать некий «мой мужчина», который, прежде чем меня оставить, меня полюбит. Но ни о каких младенцах в материных песнях и речи не было. Может, поэтому женщины, о которых пела мама, и были такими грустными? Наверное, мужчины оставляли их раньше, чем они успевали родить ребеночка.

И тут Пикола задала вопрос, который мне никогда и в голову не приходил:

— А как это сделать? Ну, то есть, как сделать,

чтобы тебя кто-то полюбил?

Но Фрида не ответила: она уже спала. А я ответа на этот вопрос не знала.

ВОТИХДОМОНЗЕЛЕНЫЙСБЕЛЫМ
АДВЕРЬКРАСНАЯОНОЧЕНЬХОРОШЕ
НЬКИЙ
ОЧЕНЬХОРОШЕНЬКИЙОЧЕНЬХОРО
ШЕНЬ
КИЙХОРОШЕНЬКИЙХОРОШЕНЬ

В юго-восточной части города Лорейн, штат Огайо, где Бродвей пересекается с Тридцать пятой улицей, есть заброшенный склад. Его здание не сливается ни с висящим над ним свинцовым небом, ни с серыми щитовыми домиками, стоящими вокруг, ни с черными телефонными столбами. Наоборот, он скорее бросится прохожему в глаза своим раздражающим и одновременно чрезвычайно унылым видом. Приезжие, попав в наш небольшой городок, всегда удивляются, почему такой ужасный дом до сих пор не снесли, а местные, особенно живущие по соседству, попросту отворачиваются, проходя мимо него. Одно время на первом этаже этого дома размещалась пиццерия, и возле нее вечно слонялись подростки, кучками скапливавшиеся на углу.

Эти юнцы собирались там, чтобы похвастать своей сексуальной мощью, выкурить сигарету и придумать какую-нибудь не слишком дерзкую выходку. Сигаретный дым они старались вдохнуть как можно глубже, чтобы он заполнил их легкие, заставил сердце биться быстрее и помог справиться с дрожью в бедрах и удержать на крючке бьющую через край энергию юности. Двигались и смеялись они с нарочитой медлительностью, зато пепел с сигарет стряхивали чересчур быстро и часто, чем вызывали насмешки тех, кто уже не был новичком в курении. Впрочем, задолго до того, как подростки стали курить на углу, красуясь друг перед другом, здание бывшего склада арендовал скромный булочник-венгр, славившийся среди местных своими бриошами и рогаликами с маком.

До этого там был самый настоящий офис по торговле недвижимостью, а еще раньше здание прибрали к рукам какие-то цыгане, используя его как основную базу для своих темных делишек. Именно благодаря этой цыганской семье большая зеркальная витрина и приобрела вполне определенный характер, чего впоследствии никогда больше не наблюдалось. Витрину увешали бархатными шторами и восточными коврами, и

среди них по очереди сидели цыганские девушки и смотрели на улицу. Время от времени они улыбались, подмигивали или кивали кому-то из прохожих, но в основном просто сидели и смотрели, и та нагота, что отчетливо виднелась в их глазах, была тщательно скрыта весьма прихотливыми нарядами с длинными рукавами и юбкой в пол.

Жители квартала сменялись так быстро, что теперь, наверное, никто уже и не помнил, что еще раньше, до цыганской семьи, до булочника, до собиравшихся стайками подростков, там, в передней части склада, проживало семейство Бридлав, по прихоти риелтора вынужденное гнездиться, а точнее мучиться, всем скопом в одной комнате. В эту неуютную коробку со стенами цвета бурой картофельной шелухи они входили и выходили, ничем не тревожа ни своих соседей, ни комиссию по трудоустройству, а в офисе мэра о них, по-моему, и вовсе известно не было. Каждый член этого семейства обитал как бы в собственной скорлупе, создавая собственный рисунок на лоскутном одеяле окружавшей его действительности и собирая по кусочкам необходимый опыт и необходимую информацию. Из крошечных впечатлений, словно подобранных

друг у друга, они старались создать некую видимость семьи и всеми силами ее поддерживать; и они действительно как-то уживались, несмотря на все различия.

План жилого помещения в бывшем складе был столь же лишен воображения, сколь его лишен был и хозяин здания, грек, первый из нескольких поколений местных греческих землевладельцев. Большая «складская», или «магазинная», территория была разделена пополам тонкой дощатой перегородкой, не доходившей до потолка. В одной части находилась гостиная, которую семейство Бридлав почему-то называло «передней», а во второй была спальня, в которой, собственно, и проходила основная жизнь. В передней комнате стояли два дивана, пианино и маленькая искусственная елка, украшенная к Рождеству и покрытая слоем пыли, поскольку торчала там по крайней мере года два. В спальне было три кровати: две узкие железные койки для четырнадцатилетнего Сэмми и одиннадцатилетней Пиколы и большая двуспальная кровать для Чолли и миссис Бридлав. Посреди комнаты возвышалась угольная печка, обеспечивавшая относительно равномерное распределение тепла. Вдоль стен стояли чемоданы, стулья, узкий

боковой столик и фанерный гардероб. Кухня находилась в отдельном помещении на задах самой квартирки. Ванной не было вообще. Имелся только унитаз, спрятанный в укромном местечке и незаметный для глаз, но не для ушей.

Собственно, о меблировке этой квартиры больше и сказать нечего. Все имевшиеся там вещи были абсолютно безликими, поскольку их создали, привезли и продали те, кто пребывал в различных состояниях жадности, равнодушия и невнимательности. Эта мебель успела состариться, так ни для кого и не став привычной. Люди владели ею, не понимая и не чувствуя ее. Здесь никто никогда не терял монетку или брошку, которые могли бы завалиться между подушками дивана, а человек потом с удивлением вспоминал, как потерял или нашел утраченную вещицу. Здесь никто никогда, щелкнув пальцами, не восклицал: «Ну надо же, она ведь только что была на мне! Я сидела там и разговаривала с…» или: «Да вот же она! Должно быть, завалилась за подушку, пока я ребенка кормила!» Ни на одной из этих железных кроватей никто никогда не рожал, и никто никогда не вспоминал с любовью, как рожденный здесь малыш отрывал куски жутких обоев цвета картофельных очистков, когда стал

вставать и учиться ходить. Здесь никто никогда не вспоминал, как шустрые детишки прилепляли под столешницу комки жвачки.

И никогда подвыпивший друг семьи, какой-нибудь толстяк с мощной шеей, неженатый и прожорливый, — господи, если бы вы только знали, сколько он ест! — не садился здесь за фортепьяно, чтобы сыграть «Ты мое солнышко». И ни одна девочка, глядя на рождественскую елочку, не вспоминала, как и когда она ее украшала, и не удивлялась, удержится ли на ветке голубой шарик, и не ждала, чтобы снова пришел ОН и посмотрел, как красиво она развесила игрушки.

Нет, среди этих предметов не сохранилось никаких воспоминаний, и уж тем более таких, которые полагалось лелеять. Иногда, правда, тот или иной предмет вызывал некую физическую реакцию — вроде изжоги или испарины на шее, — если вдруг приходили на память обстоятельства, связанные с его появлением здесь. Диван, например, был куплен новым, но обивка успела расползтись — и как раз поперек спинки — уже к моменту доставки, а магазин брать на себя ответственность за это не пожелал… «Послушай, приятель, с ним же все было о'кей, когда его в кузов ставили. А раз уж мебель в грузовик погру-

зили, магазин за нее никакой ответственности не несет…» Изо рта продавца пахло листерином и сигаретами «Лаки Страйк». «Но я-то диван новым покупал! Зачем мне драный?» У покупателя умоляющий взгляд и окаменевшие от страха яички. «М-да, дела у тебя, приятель, полное дерьмо, скажу я тебе. Полное дерьмо…»

Купленный диван с порванной обивкой вы, конечно, можете возненавидеть — то есть, если вы вообще способны возненавидеть диван, — но ваши переживания никакого значения не имеют. Вам по-прежнему придется отдавать за него по четыре доллара восемьдесят центов в месяц. А когда приходится отдавать по четыре доллара восемьдесят центов в месяц за диван, у которого на спинке с самого начала дыра, что к тому же крайне обидно и унизительно, то какая уж тут радость от подобной покупки. Всем известно, что отвратительный запах всеобщей безрадостности способен пропитать все вокруг. Именно она, эта вонючая безрадостность бытия, мешает вам заново покрасить дощатую перегородку; мешает купить подходящий кусок материи и обить кресло; мешает зашить пресловутую прореху на спинке дивана, и прореха со временем превращается в большую дыру, а та — в зияющую пропасть,

и на дне этой пропасти виднеется дешевая рама и еще более дешевая ткань, которой обтянута задняя стенка дивана. Когда спишь на таком диване, то и выспаться как следует не можешь. А если занимаешься на нем любовью, то все время чего-то опасаешься, делаешь все как бы украдкой. Рваный диван в доме — словно больной зуб, который не желает страдать в одиночестве и старается распространить свою боль на все прочие части тела, делая дыхание затрудненным, зрение ограниченным, а нервы неспокойными. Подобное воздействие на все вокруг оказывает и любой ненавидимый предмет мебели, исподтишка создавая всевозможные неудобства и всячески ограничивая удовольствие, получаемое от иных вещей, с данным предметом мебели никак не связанных.

Единственной живой вещью в доме Бридлавов была угольная печь, жившая своей жизнью, не зависящей ни от других вещей, ни от людей; огонь в ней «горел», «не горел» или «был притушен» в зависимости от ее собственных желаний, хотя именно это семейство кормило ее углем и знало все особенности ее «диеты»: насыпать уголь понемножку, не уплотнять его и не переполнять топку… Огонь в печи, казалось, жил,

спал или умирал в соответствии с собственными планами и намерениями. По утрам, впрочем, ему почему-то почти всегда хотелось умереть.

ВОТСЕМЬЯЧТОЖИВЕТВЭТОМБЕЛ
ОЗЕЛЕНОМДОМИКЕМАТЬОТЕЦДИК
ИДЖЕЙНОНИОЧЕНЬСЧА

Семейство Бридлав проживало в передней части складского помещения вовсе не потому, что у них возникли временные трудности, связанные с сокращениями на фабрике. Они поселились там, потому что были бедные и чернокожие, а оставались — потому что считали себя безобразными. Хотя их бедность была вполне традиционной и точно так же, как у всех, сводила на нет все результаты их трудов. Во всяком случае, их бедность никому не казалась ни смешной, ни уникальной. А вот их некрасивость и впрямь была поразительной. Точнее, их общее безобразие. Да они и сами были уверены, что являются образцом безжалостно-агрессивного безобразия. За исключением отца семейства, Чолли, чье безобразие (следствие отчаяния, беспутства и насилия, направленного на мелкие предметы и слабых людей) превратилось в манеру поведения, все остальные члены семьи — миссис Бридлав, Сэмми Бридлав и Пи-

кола Бридлав — просто носили свое безобразие как платье, хотя их неотъемлемой чертой оно не являлось. У них были маленькие глазки, поставленные очень близко, чуть ли не рядом, низко нависающие лбы. Линия роста волос на лбу тоже была очень низкой и казалась какой-то особенно неровной и неопрятной по контрасту с очень прямыми тяжелыми бровями, почти смыкавшимися на переносице. Носы у всех Бридлавов были довольно тонкие, но крючковатые, с нагло открытыми ноздрями. Скулы высокие, а уши настолько оттопыренные, что казались повернутыми вперед. Хорошей формы губы привлекали внимание не столько к себе, сколько к остальному лицу, ибо очень на нем выделялись. Бывало, смотришь на это семейство и удивляешься: ну почему они все такие безобразные? А потом приглядишься — и тебе уже кажется, что причины для подобного утверждения вовсе и нет. Вот тогда ты и начинаешь понимать: все дело в том, что они сами убеждены в своей уродливости. Такое ощущение, будто некий повелитель, таинственный и всезнающий, вручил каждому из них этакий «плащ безобразия» и велел носить, не снимая. И они безропотно его приказу подчинились. А он еще и припечатал их словами: «Вы же все такие

уроды!» Они огляделись и поняли, что возразить им нечего, что собственное безобразие и впрямь глядит на них из каждой витрины, с каждого киноэкрана, из глаз каждого прохожего. И, сказав со вздохом: «Да, он прав», они накинули на плечи выданные им «плащи безобразия» и пошли в них по миру. Но каждый обращался с этим плащом по-своему. Миссис Бридлав, например, воспринимала его как театральный реквизит, используемый, чтобы подчеркнуть характер того персонажа, который она для себя выбрала, — роль этакой мученицы. Сэмми использовал свой «плащ безобразия» как оружие, желая причинить боль другим людям. Он и поведение свое в целом к этому приспособил, и приятелей себе выбирал по тому же принципу: таких, кого всяческое безобразие очаровывало или сбивало с толку. Ну а Пикола под своим «плащом» просто пряталась. Пряталась, как прячутся под маской, под вуалью, под покрывалом, и лишь изредка выглядывала из-под своей «паранджи», а потом почти сразу же возвращалась в укрытие.

И вот октябрьским субботним утром члены семейства Бридлав один за другим начали потихоньку выползать из своих сновидений о богатстве, о мести за убогую жизнь и вновь по-

гружаться в безликую нищету своего жилища, устроенного в передней части бывшего склада.

* * *

Миссис Бридлав, бесшумно выскользнув из постели, надела свитер прямо на ночную сорочку (которая когда-то была полноценным дневным платьем) и направилась на кухню, громко топая по линолеуму здоровой ногой; вторая ее нога, искалеченная в раннем детстве, пришепетывала в такт, легко касаясь линолеума. На кухне миссис Бридлав тут же принялась греметь дверцами, кранами и сковородками. Шум она, правда, подняла вполне терпимый, однако угрозы вызвала весьма громогласные. Услышав их, Пикола открыла глаза и замерла, уставившись на холодную угольную печку. Выразив свое недовольство, Чолли еще что-то пробормотал невнятно, повозился в кровати и снова затих.

Пикола через всю комнату чувствовала исходивший от отца запах виски. Тем временем грохот на кухне стал громче и отчетливее. В нем явно чувствовалась некая направленность и цель, но к приготовлению завтрака все это никакого отношения не имело. Понимание того, что мать неспроста так разбушевалась, было для

Пиколы подкреплено многочисленными свидетельствами прошлого, и она даже живот втянула, стараясь дышать как можно тише.

Дело в том, что Чолли накануне пришел домой вусмерть пьяным. К сожалению, он был настолько пьян, что даже скандал устроить оказался не в состоянии, и теперь скандалом грозило сегодняшнее утро. А поскольку спонтанного сражения не получилось, нынешнее будет излишне рассчитанным, лишенным вдохновения, а значит, поистине ужасным.

Миссис Бридлав быстро вошла в комнату и остановилась у изножья кровати, на которой лежал Чолли.

— В этом доме хоть кто-нибудь способен принести кусок угля? — грозно спросила она, но Чолли даже не пошевелился. — Ты меня слышишь?

Миссис Бридлав дернула Чолли за ногу. Он медленно открыл глаза и уставился на нее. Глаза у Чолли были красные, угрожающие. Безусловно, самые страшные глаза в городе.

— У-у-у, женщина!

— Я сказала, что мне уголь нужен. В доме холодно, как у ведьмы в титьках. Твоей-то пропитанной виски заднице и адский огонь нипочем. А я замерзла. Я много чего сделать собираюсь, но

мерзнуть я не готова.

— Оставь меня в покое.

— И не подумаю, пока ты мне угля не принесешь. Если то, что я работаю, как мул, не дает мне права жить в тепле, так зачем мне вообще работать? Уж ты-то, небось, и гроша ломаного в дом не принесешь. Если бы мы от тебя одного зависели, так давно бы уж все с голоду померли… — Ее голос ввинчивался прямо в мозг, как ушная боль. — И если ты думаешь, что я собираюсь сама бродить на холоде по путям и уголь собирать, так лучше еще разок мозгами-то пошевели. И мне насрать, как ты мне этот уголь раздобудешь! — В горле у Чолли что-то булькнуло — словно вздулся и лопнул пузырь злобы и насилия. А миссис Бридлав все продолжала: — Так ты намерен поднять с кровати свою пьяную задницу и принести мне хоть кусок угля? — Молчание. — Чолли! — Молчание. — Ты сегодня с утра лучше мое терпение не испытывай! Попробуй только хоть словом мне возразить, я тебе, ей-богу, прямо по горлу ножом полосну! — Молчание. — Ну ладно. Ладно. Смотри. Но если я хоть раз чихну, тогда храни Господь твою задницу!

Теперь уже и Сэмми проснулся, но притворялся, что спит.

А Пикола по-прежнему лежала, сильно втянув живот и стараясь не дышать. Всем было прекрасно известно, что миссис Бридлав могла давно уже взять в сарае сколько угодно угля, а может, и взяла уже. Ну, в крайнем случае могла отправить туда Сэмми или Пиколу. Но вечер без ссоры так и повис в воздухе, точно первая нота панихиды в мрачно-выжидательной атмосфере церкви. Очередная пьяная эскапада отца — хоть это и было делом самым обычным — в любом случае должна была завершиться по всем правилам.

Крошечные неразличимые дни, которые проживала миссис Бридлав, идентифицировались, группировались и классифицировались благодаря этим ссорам. Ссоры придавали смысл минутам и часам, которые иначе оставались неясными и в памяти не задерживались. Ссоры оживляли монотонность извечной нищеты и даже придавали некое величие этим пустым мертвым комнатам. Лишь во время этих яростных перерывов в рутине, которые, разумеется, и сами по себе были рутиной, миссис Бридлав могла доказать, что у нее тоже имеется и собственный стиль, и собственное мнение, которые она считала своими исконными чертами. Отнять у нее ежедневную возможность сражаться с мужем

означало лишить ее жизнь всякого смысла и интереса. Привычными пьянством, хамством и грубостью Чолли обеспечивал обе их жизни тем необходимым, что делало их терпимыми. Миссис Бридлав считала себя женщиной правильной, истинной христианкой, обремененной абсолютно никчемным мужем, которого по велению Господа ей следует наказывать. (Чолли, разумеется, был безнадежно неисправим, да и вряд ли его исправление было целью миссис Бридлав, ее больше привлекал не Христос-Спаситель, а Христос-Судия.) Зачастую можно было услышать, как она ведет беседы с Господом насчет Чолли, умоляя Его помочь ей «стряхнуть этого ублюдка с вершины его гордыни, которую он сам взрастил и которой вовсе недостоин». А однажды, когда по пьяному делу Чолли так пошатнулся, что чуть не ввалился в раскаленную докрасна печь, она пронзительно завопила: «Возьми его, Господи! Возьми!» С другой стороны, если бы Чолли совсем перестал пить, она бы этого Иисусу никогда не простила. Ибо прегрешения Чолли были ей самой отчаянно необходимы. Чем ниже он опускался, чем более диким и безответственным становилось его поведение, тем выше поднималась она сама, тем благородней становилась ее задача по

его «спасению» во имя Господа.

Да и сам Чолли нуждался в ней не меньше. Она была одной из тех вещей, которые были ему отвратительны, но которым он мог, тем не менее, причинить боль одним лишь своим прикосновением. Именно на нее он изливал всю свою невыразимую ярость и неосуществленные желания. Изливая свою ненависть на нее, сам он мог оставаться целым, невредимым. В ранней юности Чолли не повезло: его застигли в кустах двое белых мужчин, когда впервые от души развлекался с одной деревенской девчонкой. А те двое, видно, решив повеселиться, посветили ему в задницу карманным фонариком. Чолли замер от ужаса. Шутники захихикали, но продолжали светить, приговаривая: «Давай-давай, ниггер. Тебе уж и кончать пора. Ты смотри, кончай хорошенько! А мы полюбуемся». И свет фонарика все продолжал впиваться ему прямо в зад. Как ни странно, ненависти к этим белым мужчинам Чолли не испытывал, зато его душу прямо-таки переполняли ненависть и презрение к той несчастной девчонке. С тех пор даже малейшего напоминания об этом издевательстве — особенно на фоне последовавшей бесконечной череды разнообразных унижений, поражений и приступов собственного

отчаянного бессилия, сопровождавших его всю жизнь, — было достаточно, чтобы он начал фонтанировать столь непристойными фантазиями, которые даже у него самого вызывали удивление. Впрочем, удивление они вызывали действительно только у него самого. Никого другого он подобными вещами больше удивить не мог. А сам все удивлялся. Но потом тоже привык.

Чолли и миссис Бридлав ссорились и дрались друг с другом в рамках некоего мрачного, даже зверского кодекса, правила которого можно было сравнить лишь с правилами их занятий сексом. Казалось, они раз и навсегда заключили безмолвное соглашение: ни в коем случае не убивать друг друга. Чолли дрался с женой не по-мужски, а как трусливый мальчишка с более сильным соперником, пуская в ход и ноги, и ладони, и ногти, и зубы. Она же давала ему отпор чисто по-женски — могла запросто запустить в него и сковородкой, и кочергой, а порой ему в голову и плоский утюг летел. Но сражения эти происходили практически беззвучно: они не говорили друг другу ни слова, не стонали, не выкрикивали проклятий. Лишь порой был слышен глухой стук падающих на пол вещей да шлепки плоти о плоть, словно ожидавшей очередного удара.

Дети на бои родителей реагировали по-разному. Сэмми сперва чертыхался, а потом либо, хлопнув дверью, уходил из дома, либо и сам бросался в драку. К четырнадцати годам он прославился тем, что сбегал из дома не менее двадцати семи раз. Однажды он даже до Буффало добрался и целых три месяца там прожил. Возвращался он всегда мрачным — то ли в результате примененной к нему силы, то ли в силу иных обстоятельств. Пикола же, будучи ограничена и более юным возрастом, и половой принадлежностью, пыталась экспериментировать с различными формами терпения и собственной выносливости. Формы эти были различны, но боль оставалась одинаково стойкой и глубокой. И главными в итоге оставались два ошеломляющих желания, которые в ее душе мучительно боролись друг с другом: с одной стороны, ей хотелось, чтобы один из них наконец-то прикончил другого, а с другой — она от всей души стремилась умереть сама. Сейчас, например, она шептала: «Не надо, миссис Бридлав. Не надо». И Пикола, и Сэмми, и Чолли всегда называли родную мать и жену только «миссис Бридлав».

Вот и сейчас Пикола шептала: «Не надо, миссис Бридлав. Не надо». Но миссис Бридлав явно было

надо. Тем более она все же чихнула — Господь милосерден, чихнула она всего один раз, однако и этого оказалось вполне достаточно.

Она бегом бросилась на кухню, притащила полную миску холодной воды и выплеснула ее в лицо Чолли. Он тут же сел, задыхаясь и отплевываясь, а потом, совершенно голый, став от холода то ли сизым, то ли пепельным, вскочил с постели и каким-то летучим движением, похожим на футбольный выпад, перехватил жену за талию, и оба грохнулись на пол. Затем Чолли немного приподнял миссис Бридлав и с силой ударил тыльной стороной ладони. Однако она не упала замертво, а осталась сидеть, поскольку ее поддерживала рама кровати, на которой спал Сэмми. Она даже миску, из которой поливала мужа водой, из рук не выпустила. Так что, слегка очухавшись, она принялась колотить этой миской Чолли, стараясь ударить побольнее — по ляжкам, по паху. И только когда ему удалось вскочить, швырнуть жену на пол и поставить ногу ей на грудь, миску она все-таки выронила. А он, опустившись на колени, несколько раз врезал ей кулаком прямо в лицо; после двух таких ударов она вполне могла и надолго сознание потерять, но ей повезло: в какой-то момент она успела пригнуться, и кулак

Чолли угодил прямо в металлическую кроватную раму. Пока Чолли, шипя от боли, баюкал ушибленную руку, миссис Бридлав сумела этим воспользоваться и моментально ускользнула. Да еще и Сэмми неожиданно пришел ей на помощь, хотя до сих пор молча наблюдал за их дракой, притаившись в кровати. Но потом вдруг вскочил и принялся молотить отца по голове обоими кулаками, крича: «Ах ты, голый мудило!» Сэмми так разошелся и с такой яростью колотил отца и выкрикивал ругательства, что миссис Бридлав решила: ну, на этот раз победа точно на ее стороне, и, схватив плоскую печную заслонку, подбежала на цыпочках к Чолли, который как раз пытался подняться с колен, и два раза треснула его этой заслонкой по голове, да так, что он тут же рухнул без сознания, хотя с утра, наоборот, все пыталась его в сознание привести. Чуть отдышавшись, миссис Бридлав набросила на мужа какое-то одеяло и оставила его лежать на полу.

Сэмми отчаянно завопил: «Убей его! Убей!» Миссис Бридлав повернулась к сыну, с удивлением на него посмотрела, спокойно сказала: «Хватит, сынок, прекрати этот шум», пристроила заслонку на место и двинулась в сторону кухни. Однако в дверях все же оглянулась и даже

немного задержалась — но лишь для того, чтобы сказать: «Ты бы все-таки вставал, Сэмми. Мне угля принести нужно».

* * *

Теперь наконец-то Пикола могла позволить себе дышать нормально. Она тут же с головой нырнула под одеяло, но тошнота, которую ей до сих пор удавалось как-то сдерживать, сразу же подступила к самому горлу. Но Пикола была уверена, что ее точно не вырвет. «Пожалуйста, Господи, — прошептала она себе в ладошку, — пожалуйста, сделай так, чтобы я исчезла» — и изо всех сил зажмурилась. Она знала, что будет дальше: постепенно мелкие части ее тела начнут исчезать, словно растворяться, — одни медленно, другие почти мгновенно. Один за другим стали исчезать пальцы, затем руки до локтей, затем ступни. Это, пожалуй, было даже приятно. Ноги, например, сразу исчезли все целиком. Гораздо труднее было с бедрами и тазом. Пришлось лежать совершенно неподвижно и как бы выталкивать их из себя. А вот живот исчезать вообще не хотел. Хотя в итоге и он тоже исчез. Затем исчезли грудь и шея. Зато с лицом возникли трудности. Но и с ним все почти получилось.

Почти. Остались только ее упрямые, на редкость упрямые глаза. Они всегда оставались — такие они были упрямые.

Как бы Пикола ни старалась, ей никогда не удавалось заставить их исчезнуть. А тогда какой смысл? Ведь именно в них-то все и заключалось. В глазах хранились все картины ее жизни, все лица. Она давным-давно отказалась от мысли сбежать из дома и наполнить глаза новыми картинами и новыми лицами, как это часто делал Сэмми. Но ее он с собой никогда не брал и никогда свой побег заранее не планировал: просто вдруг убегал, и все. Да и не получилось бы из этого ничего. Пока она будет выглядеть, как сейчас, пока так и останется безобразной, ей придется жить с этими людьми. С теми, к числу которых она неким образом принадлежит. Немало часов провела Пикола перед зеркалом, пытаясь открыть тайну этой принадлежности и собственной безобразности, из-за которой в школе на нее либо — в лучшем случае — не обращали внимания, либо откровенно презирали, причем учителя и ученики в равной степени. Она, единственная во всем классе, всегда сидела за двухместной партой одна. В соответствии с первой буквой фамилии, Бридлав, ей полагалось сидеть на одной из первых парт.

Она и сидела, но почему-то всегда в одиночестве. Хотя Мэри Апполинер, например, сидела на первой парте с Люком Анжелино. Учителя Пиколу словно не замечали. Они даже не смотрели в ее сторону, а вызывали, только когда обязан был отвечать каждый ученик. А еще Пикола знала: если кому-то из девчонок захочется крикнуть тому или иному мальчику что-то особенно обидное, чтобы уж точно его задеть, ей достаточно завопить во весь голос: «А Бобби любит Пиколу Бридлав! Да-да! Бобби любит Пиколу Бридлав!», и все вокруг тут же начнут ржать, а обвиненный в «любви» к Пиколе будет яростно оправдываться, притворяясь, будто страшно зол.

Некоторое время назад Пиколе пришло в голову, что если бы ее глаза — те самые глаза, которые способны были запоминать столько всяких картин и лиц, — были бы другими, то есть красивыми, то и сама она наверняка стала бы другой. Зубы у нее были хорошие, да и нос ничего себе — во всяком случае, не такой широкий и плоский, как у тех, кого считают самыми умными и привлекательными. Если бы она выглядела иначе, была бы красивой, может, и Чолли вел бы себя по-другому, и миссис Бридлав тоже? Может, они бы даже сказали: «Ты только погляди, какие

у нашей Пиколы хорошенькие глазки. Не следует нам драться да ссориться в присутствии девочки с такими хорошенькими глазками».

Хорошенькие глазки.

Красивые голубые глаза.

Большие красивые голубые глаза.

Беги, Джип, беги. Джип бежит, и Алиса бежит.

У Алисы голубые глаза. У Джерри голубые глаза.

Джерри бежит. И Алиса бежит.

Они бегут, и у них обоих голубые глаза.

Четыре голубых глаза. Четыре красивых голубых глаза.

Голубых, как небо.

Голубых — как блузка мисс Форрест.

Голубых — как сияющее великолепной чистотой небо по утрам.

* * *

Каждую ночь Пикола неустанно молила Бога подарить ей голубые глаза. Молила страстно. В течение целого года. И хотя была несколько обескуражена неудачей, но надежды не потеряла. Она понимала: чтобы случилось что-то столь чудесное, нужно много времени и усердия.

И, связав себя убеждением, что красоту ей может дать лишь некое чудо, благодаря которому она освободится от своего врожденного «уродства», она так никогда и не сумеет понять, в чем же ее собственная красота. И будет замечать только то, что и без того постоянно замечает: глаза других людей.

Вот Пикола идет по Гарден-авеню в лавочку, где продаются грошовые сладости. В туфле у нее три пенни — они скользят туда-сюда между носком и стелькой и при каждом шаге больно вдавливаются в ступню. Но это сладкая боль, вполне терпимая, даже желанная, ибо сулит приятную перспективу и полную безопасность выбора. И времени у нее полно — выбирай что хочешь. Пока она идет по Гарден-авеню, она со всех сторон окружена знакомыми, а потому любимыми образами. Вот, например, одуванчики возле телефонной будки. И почему это люди называют одуванчики «сорняками»? Ей, например, эти пушистые цветочки всегда казались очень хорошенькими. Но она часто слышит, как взрослые говорят: «Какой же у мисс Данион двор ухоженный. Ни одного одуванчика!» А женщины в черных шлепанцах ходят, согнувшись, по полю и собирают в корзины одуванчики, но им

не нужны их пушистые желтые головки — они рвут только резные листочки и варят из них суп. Их не интересует вино из одуванчиков. Головки одуванчиков такие красивые, только их почему-то никто не любит. Может, потому, что их сразу появляется так много и раньше всех других цветов? И они ужасно сильные!

На обочине отряд одуванчиков пробил трещину в форме буквы Y, а чуть дальше их мощный куст даже бетонную плиту вместе с земляной подложкой приподнял. Пикола часто о нее спотыкалась, если шла пешком, еле волоча ноги. Зато на роликах она преодолевала плиту легко — изломы стерлись от времени, и колесики катились ровно, издавая легкое жужжание. А вот новые дорожки как раз казались Пиколе неудобными, ухабистыми, да и ролики катились по ним с каким-то скребущим звуком.

Эти и другие неодушевленные предметы она часто видела, встречи с ними испытала на собственном опыте — это был ее мир, реальный, хорошо знакомый. Он имел свои незыблемые правила, и эти вещи способны были многое ей объяснить. И в то же время они ей *принадлежали*. Она владела той трещиной, о которую спотыкалась, она владела кустиками одуванчиков,

белые головки которых с таким наслаждением «обдувала» прошлой осенью, а этой осенью она с удовольствием высматривала желтые головки новых одуванчиков. Это были ее одуванчики, и обладание ими делало ее частью всего этого мира, а весь мир — частью ее самой.

Пикола поднимается по четырем деревянным ступенькам и открывает дверь в магазин «Свежие овощи, мясо и сладости от Якубовски». Звякает знакомый колокольчик. Стоя перед прилавком, она любуются изобилием разных сластей. На все деньги куплю «Мэри Джейн», решает она. Три штуки за пенни. «Мэри Джейн» — это такая тверденькая карамелька, но если ее рассосать, то внутри окажется чуть солоноватая арахисовая начинка. В душе у Пиколы уже звучит колокольный звон предвкушения. Стащив с ноги башмак, она извлекает из носка три монетки, и в ту же минуту над прилавком нависает седая голова мистера Якубовски. Такое ощущение, словно он с трудом заставил себя отвлечься от собственных важных мыслей и посмотреть на девочку. Какие голубые у него глаза! Но словно туманом подернутые. И взгляд их неторопливо перемещается на нее — так бабье лето незаметно переходит в осень. Его взгляд словно зависает где-то между

сетчаткой глаза и объектом наблюдения, словно мистер Якубовски колеблется, не зная, стоит ли ему смотреть на девчушку, стоит ли зря тратить силы, если можно спокойно зависнуть в некой фиксированной и удобной точке времени и пространства. Он Пиколу не замечает, потому что уверен: там и замечать-то нечего. Да и с какой стати пятидесятидвухлетний белый иммигрант, владелец магазина, у которого во рту вкус картошки и пива, а в голове — мысли о Деве Марии с глазами голубки, у которого разум и чувства почти до основания сточены бесконечными трагическими утратами, станет обращать внимание на какую-то чернокожую девчонку, да еще и смотреть на нее в упор?

Ничто в его жизни не предполагало подобного исхода, не говоря уж о том, что он и сам не считал такой исход желательным или необходимым.

— Да? — вяло спрашивает он, и девочка, подняв на него глаза, видит абсолютный вакуум там, где должно было бы обитать любопытство.

Она замечает и еще кое-что: полное отсутствие узнавания человека человеком; этакую абсолютную отдельность, словно покрытую глазированной пленкой. Непонятно, думает она, как такие «отсутствующие» глаза вообще могут

смотреть в определенном направлении?

Может, это просто потому, что он взрослый мужчина, а она маленькая девочка? Но она не раз видела в обращенных на нее взглядах взрослых мужчин и интерес, и отвращение, и даже гнев.

Однако и это ощущение абсолютного вакуума для нее не ново. У этого вакуума есть предел — где-то там, на его свинцовом дне таится отвращение. Она не раз видела, как это отвращение украдкой мелькает в глазах белых людей. Значит, оно наверняка связано именно с нею, точнее, с ее чернотой. Все внутри у нее так и булькает в предвкушении. Но сама ее чернота совершенно неподвижна. Именно эта ее ужасающая статичность и порождает в итоге в глазах белых тот безнадежный вакуум, на дне которого таится отвращение.

Пикола тычет пальчиком в конфеты «Мэри Джейн». Пальчик маленький, черный, и кончик его плотно прижат к тому месту, где выставлена вазочка с конфетами. Жест совсем необидный — просто робкая попытка черного ребенка что-то объяснить взрослому белому мужчине.

— Этих. — Это слово больше похоже на условный знак, чем на осмысленную часть речи.

— Что? Тебе эти нужны? Эти, да? — Голос про-

давца хрипит от нетерпения и скопившейся в бронхах слизи.

Пикола мотает головой, упорно прижимая пальчик к тому месту, где, с ее точки зрения, и находится вазочка с «Мэри Джейн». Но Якубовски-то смотрит с другой стороны — ему по-прежнему непонятен ее упрямый жест и раздражает тоненький черный палец, упершийся в одну точку. Своей красной опухшей рукой он беспорядочно шарит внутри стеклянной витрины, и эта красная рука кажется ей похожей на отрубленную куриную голову, которая мечется в ярости, пытаясь вновь обрести утраченное тело.

— Господи, ты что, разговаривать не умеешь?

Наконец его пальцы добираются до пакетиков с «Мэри Джейн», и Пикола радостно кивает.

— Так что ж ты сразу-то не сказала? Тебе сколько? Одну? Ну, говори, сколько?

Пикола разжимает кулачок и протягивает ему на ладошке три пенни. Он швыряет ей три пакетика «Мэри Джейн» — в каждом по три желтеньких квадратика, — но денег с ее ладошки почему-то не берет. Ему явно не хочется к ней прикасаться. А она не решается ни убрать палец правой руки с того места на стеклянной витрине, где стоит вазочка с вожделенными конфетами,

ни просто высыпать монетки из левой руки на прилавок. Наконец продавец сам протягивает руку и забирает у нее деньги, нечаянно задев ногтями ее потную ладошку.

Пикола вываливается наружу, охваченная приступом необъяснимого стыда. Она видит перед собой одуванчики. И вся ее любовь стрелой устремляется к ним. Но и одуванчики на нее не смотрят и стрел ответной любви ей не шлют. «Ну и пусть, — думает она, — они же такие безобразные. Они же просто сорняки!» Она настолько поглощена этим внезапным откровением, что спотыкается о хорошо знакомую трещину на обочине. В душе ее так и взвивается гнев, и, пробудившись, он, как щенок, разевает свою жаркую пасть и до последней капли вылакивает весь ее недавний стыд.

Гнев лучше стыда. Гнев всегда обладает неким смыслом. И реальной сущностью. Смыслом и достоинством. И вызывает в душе приятное волнение. Пикола вдруг вновь вспоминает голубые водянистые глаза мистера Якубовски и его насморочный голос.

И потом, гнев никогда надолго не задерживается, он, опять же, как щенок, очень быстро наедается и сразу засыпает. И тогда в душе снова

вскипает стыд, мутными потоками просачиваясь в глаза. Что же делать? Как сдержать готовые хлынуть слезы? И Пикола вспоминает о «Мэри Джейн».

На каждом бледно-желтом квадратике есть изображение маленькой Мэри Джейн, именем которой конфеты и названы. Улыбающееся белое личико. Светлые волосы в приятном беспорядке, глаза, естественно, голубые, вокруг — мир абсолютного комфорта и чистоты. Хотя сами глаза Мэри Джейн смотрят дерзко, с затаенной злобой. Но Пикола все равно считает их очень красивыми. Она сует в рот конфету и наслаждается ее сладостью. Ведь в определенном смысле съесть эту конфету значит съесть эти злые голубые глаза, съесть Мэри Джейн. Полюбить Мэри Джейн и стать ею.

За три пенни она купила себе целых девять моментов наивысшего наслаждения в обществе Мэри Джейн. Той самой красотки Мэри Джейн, именем которой и названы конфеты.

* * *

В квартире над бывшим складским помещением, в котором теперь обитало семейство Бридлав,

поселились три шлюхи. Чайна, Поланд[6] и мисс Мари. Пикола их любила, часто навещала и с удовольствием выполняла всякие их поручения. Ну и они в свою очередь относились к ней без малейшего презрения.

Однажды октябрьским утром — это было то самое утро, когда миссис Бридлав удалось одержать столь блистательную победу с помощью печной заслонки, — Пикола поднялась по лестнице в их квартиру, но и постучаться не успела, как услышала пение. Голос у Поланд был сильный и сочный, как свежая клубника:

У меня в бочонке ни ложки муки,
На кухне ни крошки хлеба,
И в шкафу пустота —
Такая вот красота!
И постель холодна,
Коли спишь ты одна…

— Привет, яблочко в тесте! А носки-то твои где? — тут же спросила у Пиколы мисс Мари.

У нее каждый раз находилось для девочки новое прозвище, причем любовно выбранное из числа самых вкусных и любимых кушаний.

---

[6] Примечания: 6
Китай, Польша (*англ.*).

— Здравствуйте, мисс Мари. Здравствуйте, мисс Чайна. Здравствуйте, мисс Поланд.

— Ты что, не слышишь? Где твои носки? Что это ты с голыми ногами, как дворняжка, ходишь?

— Я ни одной пары найти не смогла.

— Да неужели? Значит, у вас в доме кто-то такой завелся, кто очень любит носками полакомиться.

Чайна захихикала. Каждую такую пропажу мисс Мари связывала с появлением в доме большого любителя лакомиться подобными вещами. Она, например, могла с тревогой заявить, что у них в доме явно «завелся какой-то большой любитель бюстгальтеров».

Поланд и Чайна готовились к вечернему выходу. Поланд что-то гладила, напевая себе под нос, а Чайна, сидя на бледно-зеленой кухонной табуретке, как всегда, укладывала себе волосы. Мисс Мари к выходу, разумеется, никогда вовремя готова не была.

Эти женщины относились к Пиколе дружелюбно, но разговорить их было довольно трудно. Так что девочка всегда брала инициативу на себя и первой заговаривала с мисс Мари, известной болтушкой, — той стоит рот открыть, так ее и не остановишь.

— Как это вышло, что у вас столько разных бойфрендов, мисс Мари?

— Бойфрендов? Бойфрендов?! Душечка-девчушечка, да я вообще ни одного бойфренда с 1927 года не видела!

— Значит, ты их и вообще никогда не видела. — Чайна сунула щипцы для завивки в жестянку с маслом для укладки волос «Ню Нил». От прикосновения к горячему металлу масло громко зашипело.

— Как же так, мисс Мари? — стояла на своем Пикола.

— Ты хочешь знать, как получилось, что я с 1919-го до 1927 года ни с одним мальчиком знакома не была? А все потому, что мальчики тогда исчезли. Просто перестали появляться на свет. Люди тогда стали рождаться уже старыми.

— Ты хочешь сказать, что вот тогда-то ты и почувствовала себя старухой, — вставила Чайна.

— Чушь! Старухой я себя никогда не чувствовала и не почувствую. Разве что толстухой.

— Ну, это почти одно и то же.

— Небось, думаешь, раз ты такая тощая, так все тебя молодой считают? А на самом деле люди думают: похоже, эта старая кляча подпругу себе купить забыла.

— А ты скоро на маневровый паровоз-толкач похожа будешь.

— Толкач, не толкач, да только твои ножки-клюшки выглядят ничуть не моложе моих!

— Ничего, мои ножки-клюшки себя еще покажут. Их-то в первую очередь раздвигают.

Все три женщины весело рассмеялись, а мисс Мари даже голову назад откинула. Ее смех исходил, казалось, из самых глубин ее существа и звучал, как может одновременно звучать множество полноводных рек, свободно текущих средь илистых берегов и стремящихся к простору открытого моря. Чайна хихикала — словно всхлипывала. Пиколе представлялось, что внутри у Чайны — пищалка со шнурком, за который каждый раз дергает чья-то невидимая рука. Поланд в общих разговорах участвовала крайне редко, только если была сильно пьяна, а смеялась всегда совершенно беззвучно. Трезвая она обычно тихонько напевала себе под нос какой-нибудь блюз, которых знала великое множество.

Накручивая на палец бахрому шарфа, брошенного на спинку дивана, Пикола снова спросила:

— Никого не знаю, у кого бы столько же парней было, как у вас, мисс Мари. Что это они вас так любят?

— А что ж им меня не любить? — сказала мисс Мари, открывая бутылку дешевого пива. — Они знают, что я богата и отлично выгляжу. Вот им и хочется пальцы в мои кудри запустить да до денежек моих добраться.

— А вы богатая, мисс Мари?

— Пудинг ты мой сладенький, у меня есть старая няня-негритянка, так вот она очень богатая.

— Откуда ж у вас нянька? Вы ведь даже на работу не ходите.

— Действительно, — хихикнула Чайна, — где это ты такую денежную няньку раздобыла?

— У Гувера[7]. Он мне ее подарил. Я ему однажды одну услугу оказала. Для Ф.Б. и Р.

— И что ж ты для него сделала?

— Говорю же, услугу ему оказала. Они хотели одного гада поймать, ясно? Его Джонни звали[8]. И уж такой он был гнусный — гнуснее не бывает…

— Это нам известно. — Чайна пристроила очередной локон.

— …и очень этот Джонни Ф. Б. и Р. нужен был.

---

[7] Примечания: 7

Джон Эдгар Гувер (1895–1972), директор ФБР с 1924 года, агент ФБР с 1917 года.

[8] Примечания: 8

Мисс Мари имеет в виду Джона Диллинджера (1902–1934), знаменитого американского грабителя и убийцу.

Он столько народу положил — больше, чем туберкулез! И не дай бог кому поперек него пойти. Да от такого человека одно мокрое место осталось бы. Он бы его вдоль и поперек исполосовал! А я тогда была ловкая, маленькая и очень сообразительная. Не больше девяноста фунтов, даже когда горло как следует промочу.

— Как же это тебе удавалось горло-то как следует промочить? Ты ж у нас и не пьешь почти, — удивилась Чайна.

— Зато ты у нас почти не просыхаешь! И вообще заткнись! Дай до конца поведать эту замечательную историю моей сладенькой девочке, потому что, сказать по правде, одна только я и сумела с ним справиться. Он, например, пойдет и ограбит банк, да еще и несколько человек прикончит, а я ласково так ему говорю: «Ну что ж ты, Джонни, нехорошо так поступать». И он сразу оправдываться начинает: мол, просто хотел мне какой-нибудь подарочек принести. Драгоценные кружева ящиками таскал. И каждую субботу мы брали ящик пива и жарили рыбу. Мы жарили ее на сливочном масле, обмакнув в яйцо и обваляв в муке, — и она получалась, знаешь, вся такая коричневая, но не пережаренная, — а запивали ее вкусным холодным пивом… — У мисс Мари

даже взгляд стал масленый от столь чудесных воспоминаний. Собственно, все ее истории в итоге сводились к описанию еды. Пикола явственно представляла себе, как мисс Мари вонзает зубы в толстенькую спинку морского окуня, покрытую хрустящей корочкой; как ее пухлые пальчики проворно засовывают в рот мелкие кусочки белого горячего мяса, случайно ускользнувшие от ее жадного рта; как она срывает крышку с пивной бутылки и пьет прямо из горлышка, обжигая язык и горло ледяной струей кисловатого пенного напитка. Но для Пиколы этот сон наяву заканчивался гораздо раньше, чем мисс Мари успевала очнуться от воспоминаний.

— А деньги-то как? — спрашивала она. И Чайна заливалась смехом, ухая, как сова:

— Да она вечно все так рассказывает, будто сама и была той Дамой в Красном, что на Диллинджера донесла.

— Ну, к тебе-то Диллинджер и близко бы не подошел! Разве что, охотясь в Африке, случайно принял бы тебя за гиппопотама и подстрелил.

— Ну, этот гиппопо свою пулю в Чикаго получил. Господи, чтоб его девяносто девять раз!

— А почему вы всегда так говорите: «Господи» и какое-нибудь число прибавляете? — Пиколе

давно уже хотелось это узнать.

— Потому что моя мама учила меня никогда не ругаться.

— А она тебя не учила, случайно, чтобы ты никогда свои портки не теряла? — поинтересовалась Чайна.

— А у меня их никогда и не было, — спокойно ответила мисс Мари. — Я до пятнадцати лет и портков-то ни разу не видела; я тогда из Джексона уехала в Цинциннати и целыми днями работала. Вот мне белая хозяйка и подарила несколько своих старых. А я сперва решила, что это что-то вроде спортивной вязаной шапки, и напялила на голову, когда пыль вытирала. Она как меня увидела, так чуть от смеху не окочурилась.

— Тогда ты, наверно, совсем еще дурочкой была. — Чайна закурила сигарету и принялась остужать свои железки.

— Так откуда ж мне было знать, как эти штуки носят? — Мисс Мари помолчала. — Да и какой в них смысл, если их то и дело снимать приходится? Дьюи никогда не разрешал мне в них подолгу ходить, чтобы я к ним не привыкала.

— А кто такой Дьюи? — Этого имени Пикола еще не слышала.

— Кто такой Дьюи?! Да разве ж ты, мой цып-

леночек, ни разу не слышала, как я о Дьюи рассказываю? — Мисс Мари прямо-таки потрясла подобная невнимательность со стороны Пиколы.

— Нет, мэм.

— Ну, детка, в таком случае полжизни ты уже пропустила! О господи, сто девяносто пять! А ты, Чайна, все о молодости да о привлекательности долдонишь! Да мне всего четырнадцать было, когда я с Дьюи познакомилась. Мы с ним тогда сбежали и целых три года прожили как муж и жена. Знаешь, цыпленочек, этих первосортных красавцев, которые только и делают, что по подиуму бегают? Так вот, за одну ногу Дьюи Принца таких полсотни легко можно отдать! Боже мой! Как же этот мужчина меня любил!

Чайна пристроила вдоль щеки кокетливый локон и спросила:

— В таком случае чего же он тебя обчистил да удрал?

— Ох, подруга, когда до меня дошло, что за все эти штуки мне и самой могли бы звонкой монетой платить, меня уже ветром качало, перышком можно было с ног сбить.

Поланд засмеялась. Как всегда, беззвучно. Потом сказала:

— Со мной примерно так же было. А в первый

раз тетка меня еще и выпорола как следует, когда я призналась, что никаких денег за это не получала, да еще и спросила удивленно: «Какие деньги, тетя? За что? Он ничего мне не должен». И тетка злобно так бросила: «Черта с два не должен!»

Все три женщины дружно расхохотались.

Три веселых горгульи. Три веселых стервятницы. Их умиляла собственная детская неопытность и неосведомленность. Они не принадлежали к тому поколению проституток, которое было создано авторами великих романов; те обладали большим и щедрым сердцем и всей душой были преданы — разумеется, в связи с некими «ужасными обстоятельствами», — своим мужчинам, ведущим жалкую и бесплодную жизнь и время от времени берущими у женщин скромную сумму денег за «понимание». Не принадлежали они и к категории разумных, но чувствительных юных девиц, которые случайно пошли по кривой дорожке и, угодив в лапы судьбе, были вынуждены культивировать свою внешнюю хрупкость и изящество, дабы хоть как-то защитить себя от дальнейших разрушений, хотя прекрасно сознавали, что родились для лучшей жизни и легко могли бы составить счастье любому достойному мужчине. Эту троицу нельзя было отнести и к

тем многочисленным неряшливым, не имеющих ни капли разума проституткам, которые, оказавшись не в состоянии прожить на свой «законный» заработок, начинают приторговывать наркотиками или заниматься сводничеством и тем самым окончательно завершают предначертанную для них схему самоуничтожения, избегая самоубийства лишь в память о каком-то неведомом отце или ради поддержания жалкого существования матери, давно уже безмолвствующей и впавшей в маразм. Если не считать выдуманных мисс Мари историй о ее любви к Дьюи Принцу, у этих женщин не находилось доброго слова ни для кого из мужчин; они ненавидели всех представителей противоположного пола без разбора, не испытывая при этом ни стыда, ни желания извиниться. Они оскорбляли своих посетителей с презрением, ставшим почти машинальным от постоянного употребления. Чернокожие, белые, цветные, пуэрториканцы и мексиканцы, евреи и поляки — абсолютно все были достойны их презрения, все признавались слабаками и уродами, все становились невольными жертвами их почти равнодушного гнева. Зато эти женщины всегда радовались, когда им удавалось обмануть кого-то из клиентов, особен-

но богатенького. Об одном таком случае в итоге узнал весь город: очаровательная троица заманила к себе денежного еврея, а потом, удерживая его за ноги и за руки, вытряхнула все, что имелось у него в карманах, а самого выбросила из окошка.

Особого уважения не питали они и к тем женщинам, которые — хоть и не являлись, если можно так выразиться, их коллегами по ремеслу — все же более или менее регулярно обманывали собственных мужей. «Посахаренные шлюхи» — так они называли этих замужних обманщиц. Сами они выйти замуж и занять соответствующее положение в обществе отнюдь не стремились. Единственные, к кому они относились с искренним уважением, это «добрые христианки» из цветных. Такие женщины обладали безупречной репутацией, без устали заботились о своей семье, не пили, не курили и не бегали за мужчинами. К таким женщинам они питали вечную, хотя и тайную любовь. Они могли спать с мужьями этих женщин и получать от них плату за услуги, но всегда испытывали при этом определенное чувство отмщения.

И уж точно не было в них ни капли сочувствия к юношеской невинности. Наоборот, оглядываясь назад и вспоминая собственную юность,

годы полнейшей неопытности и невежества, они искренне сожалели, что не сумели лучше распорядиться этими чудесными годами. Они не изображали из себя молоденьких девушек в обличье шлюх или шлюх, оплакивающих утраченную невинность. Они были самыми настоящими шлюхами, соответствующим образом облаченными и никогда в жизни не чувствовавшими себя юными, а потому и желания не имевшими защитить чью-то невинность. С Пиколой они чувствовали себя совершенно свободно, в точности как друг с другом. Мисс Мари, правда, сочиняла для девочки всякие истории, может быть, излишне грубоватые, зато веселые. И если бы Пикола выразила желание вести такую жизнь, как они, они уж точно не стали бы ее ни разубеждать, ни выражать по этому поводу какое-то беспокойство.

— А детки у вас и Дьюи Принца были, да, мисс Мари?

— Да, были. Несколько штук. — Мисс Мари слегка занервничала и, вытащив из волос шпильку, принялась ковырять ею в зубах. Это означало, что больше она на эту тему разговаривать не желает.

Пикола подошла к окну и посмотрела вниз.

Улица была пуста. Пробившуюся сквозь трещину в тротуаре траву трепал резкий октябрьский ветер. Пикола думала о Дьюи Принце и о том, как он любил мисс Мари. Что же это за чувство такое — любовь? — думала она. Как ведут себя взрослые, когда любят друг друга? Неужели просто едят вместе жареную рыбу?! И Пикола представила себе знакомую картинку: Чолли и миссис Бридлав лежат в постели, и он издает эти страшные звуки, словно его терзает боль, словно кто-то схватил его за горло и не отпускает. Но сколь бы ни были ужасны его стоны и хрипы, куда страшнее было то, что мать при этом молчала как мертвая. То есть вообще никаких звуков не издавала; ее словно там и не было вовсе. Может, это и есть любовь? Мучительные стоны, хрипы — и мертвое молчание?

Отвернувшись от окна, Пикола посмотрела на женщин.

Чайна передумала делать прическу со свисающими вдоль щек локонами и в данный момент выкладывала на голове небольшой, но вполне крепкий «помпадур». Прическами она всегда увлекалась, однако даже самая искусная из них всегда составляла резкий контраст с ее весьма потрепанной внешностью, и Чайна каждый

раз смотрела на себя в зеркало растерянно и печально, а потом принималась за создание новой прически, после чего наносила на лицо невероятное количество макияжа. Сейчас, например, она нарисовала себе удивленные бровки, а губам придала форму лука купидона. А назавтра вполне могла изобразить густые восточные брови, а губы, наоборот, сделать тонкими и злыми.

Поланд сладким, как клубника, голосом затянула очередную песню:

Мой парень нежен, как коричневое облако,
Мой парень нежен, как коричневое облако,
Землю от радости начинает трясти,
Стоит ему по ней пройти.
У него походка павлина,
А глаза с бронзовым отливом,
А улыбка слаще сиропа сорго,
И улыбается он медленно, гордо…
Мой парень нежен, как коричневое облако.

Мисс Мари сидела и лущила арахис, швыряя

зернышки себе в рот. А Пикола все смотрела на этих женщин и тщетно пыталась понять: а настоящие ли они? И тут мисс Мари рыгнула — тихонько так, любовно, точно мурлыкнула.

Зима

На лицо моего отца стоит посмотреть. Особенно когда там поселяется и правит зима. Его глаза становятся похожи на заснеженные утесы, с которых вот-вот сорвутся лавины; брови свисают, как черные ветви деревьев, лишенные листвы. Даже кожа приобретает бледный безрадостный желтоватый оттенок зимнего солнца, а подбородок напоминает занесенное снегом поле, где тут и там торчат колючие верхушки засохших сорняков. Высокий отцовский лоб — словно замерзший простор озера Эри, где подо льдом, в темноте, скрывается бешеный водоворот мыслей. Охотник на волков, он теперь вынужден еще и с коршунами сражаться, день и ночь стараясь удерживать одного подальше от дверей нашего дома, а второго — от подоконников. Вулкан, стерегущий пламя, он объясняет нам, какие двери держать закрытыми, а какие открытыми для лучшего распределения тепла, заботится о необходимом количестве растопки, обсуждает с нами качество угля и учит нас, как загребать жар, как понемногу подкармливать пламя, как собирать

угли в кучу. И до самой весны он не бреется.

Зима туго стягивала нам головы лентой холода, заставляла глаза слезиться. Мы насыпали в чулки перец, чтобы не так мерзли ноги, и старательно мазали вазелином обветренные лица, а темными, как холодный погреб, утрами с тоской взирали на традиционный завтрак: четыре тушеные сливы, скользкий ком овсяной каши и какао, подернутое толстой пленкой.

Но весну мы ждали в основном потому, что вместе с ней появлялись огороды.

И вот когда та зима застыла настолько, что превратилась в некий ненавистный узел, который никому уже, казалось, не под силу развязать, кто-то его все-таки развязал. Точнее, расщепил на тонкие серебряные нити, которые точно волшебной сетью опутали нас, заставляя порой страстно мечтать о раздражающей монотонности еще не закончившейся зимы.

А нарушила порядок смены времен года появившаяся у нас новая ученица, которую звали Морин Пил. Девочка-мечта с очень светлой, почти как у белых, лишь чуточку желтоватой кожей и длинными каштановыми волосами, заплетенными в две косы, толстые, как веревки для линчевания, и свисавшие ниже попы.

Морин была из богатой семьи — так, по крайней мере, нам представлялось — и выглядела точно так же, как самые богатые из тех белых девочек, которые буквально купались в комфорте и постоянной заботе. А количество и красота ее нарядов нас с Фридой попросту грозили свести с ума. Например, ее мягкие замшевые туфли с пряжками. Куда более дешевый вариант подобных туфель мы получали только к Пасхе, а к концу мая они уже успевали прийти в полную негодность. Или пушистый свитер светло-лимонного цвета, который у Морин всегда был аккуратно заправлен в юбочку со складками и, что уж совсем невероятно, никогда не выбивался. Или яркие цветные гольфы с белой каемкой, или коричневое бархатное пальто, отороченное мехом белого кролика, и муфточка из такого же меха. В ее зеленых, цвета терна, глазах словно таился намек на весну, а во всем облике было что-то летнее, зато ее горделивую походку отличала зрелость богатой осени.

Морин Пил очаровала всю школу.

Учителя, вызывая ее к доске, ободряюще улыбались. Чернокожие мальчишки не пытались подставить ей ножку, когда она шла по коридору; белые мальчишки не швырялись в нее камнями; белые девочки не проявляли ни малейшего

недовольства, когда ее, цветную, назначали кому-то из них в пару; черные девочки дружно расступались, если ей было нужно подойти к раковине в туалете, и с обожанием посматривали на нее из-под опущенных ресниц. Ей никогда не приходилось думать о том, с кем бы вместе позавтракать на перемене, — желающие сами слетались к выбранному ею столику, а она открывала аккуратную коробочку с изысканным завтраком, заставляя нас стыдиться наших завернутых в промасленную бумагу бутербродов, и доставала разрезанный на четыре элегантных квадратика сэндвич с яйцом и салатом, маленький кекс с розовой глазурью, несколько стебельков сельдерея и ломтиков моркови, а также великолепное темно-красное яблоко. Она даже молоко себе покупала и очень его любила.

Фриду и меня она одновременно и смущала, и раздражала, и восхищала. Мы очень старались отыскать в ней хоть какие-то недостатки, дабы восстановить равновесие, но были вынуждены удовлетвориться тем, что переименовали ее из Морин Пил в Меренгу Пай[9].

Лишь позже нам все же удалось почувствовать

---

[9] Примечания: 9
То есть «меренга-пирожок» (англ.).

кое-какое слабое превосходство над нею: мы обнаружили, что у нее острые, «собачьи», клыки — на самом-то деле зубки у нее были очаровательные, но слово «собачий» сразу снижало уровень их очарования. А уж когда мы узнали, что она родилась с шестью пальцами на каждой руке и там, где были удалены лишние пальчики, остались небольшие бугорки, мы и вовсе заулыбались. Это были, конечно, крошечные победы, но нам хватало и этого — мы хихикали у нее за спиной и обзывали ее «шестипалой-меренгой-с-собачьими-клыками». Впрочем, больше никто из девочек в наших злобных забавах участия принимать не пожелал. Они все ее просто обожали.

Когда Морин выделили личный шкафчик рядом с моим, я получила возможность четыре раза в день с наслаждением предаваться зависти. Мы с сестрой подозревали, что втайне вполне готовы с ней подружиться, если, конечно, она нам это позволит, но я точно знала, сколь опасной окажется эта дружба: стоило моим глазам проследить за мельканием белых полосок на ярких желто-зеленых гольфах Морин, и я тут же чувствовала все убожество собственных старых, вытянувшихся на коленках коричневых чулок, и мне страшно хотелось дать ей пинка. А когда я вспоминала,

с каким незаслуженным высокомерием она на меня смотрит, я старалась как бы нечаянно сделать так, чтобы дверцы наших шкафчиков, захлопнувшись, прищемили ей пальцы.

И все же, обитая в соседних шкафчиках, мы постепенно познакомились ближе, и я уже могла вполне нормально с ней разговаривать, не пытаясь при этом представить себе, как она, например, вверх тормашками падает с утеса. И я больше не хихикала самым дурацким — обидным, с моей точки зрения — образом при каждом ее слове.

Однажды, когда я поджидала возле шкафчиков Фриду, ко мне подошла Морин.

— Привет.

— Привет.

— Сестру ждешь?

— Угу.

— Вы какой дорогой домой ходите?

— По Двадцать первой улице до Бродвея.

— А почему не по Двадцать второй?

— Потому что мы живем на Двадцать первой.

— Ах так! Ну, тогда и я, наверное, могла бы той же дорогой ходить. Хотя бы отчасти.

— У нас свободная страна, — пожала плечами я.

И тут к нам подошла Фрида; коричневые чулки

сидели у нее на ногах просто ужасно, потому что она подвернула их в пальцах, чтобы скрыть большую дыру на пятке.

— А Морин хочет вместе с нами домой ходить. Хотя бы частично, — сообщила я сестре, и мы с ней переглянулись: глаза Фриды призывали меня к сдержанности, мои же ничего в ответ не обещали.

Стоял такой обманчиво-теплый весенний день, расколовший мертвящую скорлупу зимы подобно тому, как Морин раскололa нашу школьную скуку. Повсюду были лужи и участки оттаявшей земли, а радостное весеннее тепло совершенно сбивало нас с толку. В такие дни мы с Фридой обычно снимали куртки, складывали их и водружали на голову, а галоши оставляли в школе, ну и, разумеется, на следующий день валялись в постели с ангиной. Мы всегда очень остро реагировали даже на самые незначительные перемены погоды, даже на мимолетные сдвиги в расписании школьного дня. Задолго до того, как в земле пробуждались посаженные семена, мы с Фридой начинали копаться в грядках, пытаясь выяснить, не проклюнулись ли они, жадно глотая весенний воздух и капли дождя…

Итак, из школы мы вышли вместе с Морин и

тут же принялись сбрасывать свое «оперение»: головные платки засунули в карманы курток, а сами куртки свернули и водрузили на голову. При этом меня не покидала мысль о приятной возможности как-нибудь «случайно» уронить в сточную канаву меховую муфточку Морин. И тут наше внимание привлек странный шум на школьной игровой площадке. Группа мальчишек приперла к стенке очередную жертву — Пиколу Бридлав.

Бэй Бой, Вудроу Кейн, Бадди Уилсон, Джуни Баг — точно ожерелье из полудрагоценных камней, они окружили ее и, ошалев от собственного мускусного запаха, возбужденные силой превосходящего большинства, вовсю веселились, оскорбляя ее: «Эй, ты! Чернозадая! Говорят, твой папаша голым спит! А ты тоже спишь голышом, чернозадая?..»

Они без конца импровизировали на эту тему, а несчастной жертве и возразить им было нечего. Ну да, у нее кожа черного цвета, а ее отец, взрослый человек, между прочим, действительно привык спать голышом. Все их «оскорбления» звучали на редкость глупо и непоследовательно. Во-первых, они и сами были чернокожие, а во-вторых, их отцы наверняка имели те же

гигиенические привычки. Но именно презрение к собственной черноте и делало их первое оскорбление таким «зубастым». Они, казалось, взяли на вооружение все свое, чуть приглаженное школой, невежество, всю изученную в мельчайших подробностях ненависть к себе, всю свою искусно оформленную безнадежность и превратили в некий яростный неугасимый огонь презрения, горевший в глубине их душ и лишь изредка охлаждаемый плевками бешеного гнева, срывающимися с их уст и способными сжечь все, что попадется на пути. И теперь они с наслаждением исполняли свой макабрический танец вокруг несчастной жертвы, которую ради собственного удовольствия готовились бросить в геенну огненную.

«Эй, чернозадая уродина! А папаша-то твой голым спит!» И они присвистывали, цокали языком, приплясывали, а Пикола, вся в слезах, тщетно пыталась вырваться из их плотного круга. Она уронила школьный дневник на землю и закрыла руками глаза.

Мы втроем стояли и смотрели на это, опасаясь, как бы мальчишки свою неуемную энергию заодно и на нас не обратили. Затем Фрида не выдержала. Губы поджаты, глаза совершенно

мамины, она сдернула с головы свернутую куртку, швырнула ее на землю и, врезавшись в круг обидчиков, изо всех сил треснула Вудроу Кейна по башке стопкой учебников. Круг моментально распался. Вудроу схватился за голову.

— Эй, ты что, девчонка!

— Немедленно прекратите это! — Я никогда не слышала, чтобы голос Фриды звучал так громко и ясно. Может, потому, что Фрида была выше ростом, а может, потому, что Вудроу увидел ее глаза, или, может, просто прежняя забава начала ему надоедать, ну и, конечно, он вполне мог просто в нашу Фриду втрескаться — так или иначе, а Вудроу явно растерялся, и это придало Фриде храбрости. — Оставьте ее в покое, а то я прямо щас пойду и всем расскажу, что вы тут делали!

Вудроу молчал, он даже зажмурился от страха. А вот Бэй Бой осмелился пискнуть:

— А ты, девчонка, идешь себе и иди! Тебя-то никто не трогает.

— А ты вообще заткнись, тупица! — Я, наконец, тоже обрела дар речи.

— Ты кого это тупицей называешь?

— Тебя! Тупица и вонючка!

Фрида взяла Пиколу за руку.

— Пошли.

— Хочешь, в зубы дам? — Бэй Бой погрозил мне кулаком.

— Ага! Ты что, свой мне подаришь? Правда, у тебя и так уже одного не хватает.

И тут рядом со мной возникла Морин; она буквально касалась своим локтем моего, и это подействовало мгновенно. Мальчишки явно засомневались, стоит ли продолжать эту идиотскую забаву под внимательным взглядом весенних глаз красотки Морин, широко раскрытых и светившихся насмешливым любопытством, и принялись смущенно застегивать рубашки. Кое-что им, видимо, подсказал и зарождающийся мужской инстинкт, посоветовавший, что лучше всего притвориться, будто мы их внимания вовсе не стоим.

— Пошли, парни.

— Да уж, хватит глупостями заниматься. Только зря время на этих дур тратим…

И, старательно изображая полнейшее к нам равнодушие, они двинулись прочь.

Я подняла с земли дневник Пиколы и куртку Фриды, и мы уже вчетвером пошли дальше.

— Этот дурак Бэй Бой вечно к девчонкам цепляется! — с отвращением заметила я.

Фрида полностью меня поддержала, а потом

прибавила:

— Мисс Форрестер говорит, что он неисправим!

— Правда? — Я не знала, что это значит, но звучало достаточно неприятно и вполне этому Бэй Бою соответствовало.

Пока мы с Фридой болтали о возможном грядущем сражении с мальчишками, Морин как-то вдруг очень оживилась, подсунула свою ручку в бархатном рукаве Пиколе под локоть и защебетала так, словно они давно закадычные подружки:

— Я только недавно сюда переехала. Меня Морин Пил зовут. А тебя?

— Пикола.

— Пикола? Но ведь именно так звали девушку из «Имитации жизни»!

— Я не знаю, что это.

— Кино такое! Там девушка-мулатка ненавидит родную мать за то, что та черная и безобразная, а потом горько плачет на ее похоронах. Очень грустный фильм. На нем все плачут. И Клодетт Колберт тоже.

— Ага… — Голос Пиколы был не громче вздоха.

— В общем, ту девушку тоже Пикола звали. Ой, она такая хорошенькая! Когда этот фильм снова будут показывать, я обязательно еще раз посмот-

рю. Моя мама четыре раза его смотрела.

Мы с Фридой шли позади и удивлялись этой внезапно вспыхнувшей дружбе. Впрочем, нам было приятно, что Морин так хорошо отнеслась к Пиколе. Может, не такая уж она и плохая? — думала я, как и Фрида, вновь водрузив себе на голову свернутую куртку.

Увенчанные подобным образом, мы наслаждались теплым ветерком и трусили себе потихоньку, с полным правом гордясь проявленным Фридой героизмом.

— Ты ведь в моей группе по физкультуре, верно? — спросила Морин у Пиколы.

— Да.

— У этой мисс Эркмайстер ноги и впрямь дугой. Но, готова спорить, сама она уверена, что ноги у нее просто классные. Интересно, почему это ей разрешается носить нормальные шорты, а мы обязаны эти отвратительные треники напяливать? Мне каждый раз просто умереть хочется, стоит их в руки взять. — Пикола улыбнулась, но глаз на Морин не подняла. — Эй! — вдруг воскликнула Морин. — Вон лавка Исали. Хочешь, мороженого купим? Деньги у меня есть. — И, расстегнув молнию на потайном кармашке своей муфточки, она вытащила сложенную в несколько

раз долларовую бумажку. За это я тут же простила ей даже ее распрекрасные гольфы.

— А мой дядя подавал на Исали в суд, — сообщила нам Морин. — В Акроне. Ему у Исали заявили, что он нарушает общественный порядок и одет как-то не так, а потому они его обслуживать не будут, но как раз в этот момент один дядин друг, полицейский, вошел туда и, услышав все это, сказал, что будет свидетелем. В общем, процесс пошел.

— Какой процесс? Что это такое?

— А это когда ты можешь одержать над ними победу, если захочешь, и тогда уже никто ничего сделать не сможет. Наша семья все время всякие судебные процессы возбуждает. Мы верим в правосудие.

У входа в магазин Морин повернулась к нам с Фридой и спросила:

— А вы тоже мороженое будете?

Мы переглянулись. Фрида мрачно буркнула: «Нет», и Морин с Пиколой тут же исчезли за дверью. Фрида равнодушно отвернулась, а я открыла было рот, но тут же быстренько его захлопнула, догадавшись, что лучше никому о моих надеждах не говорить. Ведь я была совершенно уверена, что Морин и нас тоже мороженым угостит, и в те-

чение последних ста двадцати секунд выбирала, какое именно мороженое мне предпочесть. Мне за это время Морин даже нравиться начала, тем более что у нас с Фридой не было ни пенни.

На самом деле мы обе предполагали, что Морин так мила с Пиколой из-за мальчишек, и обе были смущены — поймав друг друга на одних и тех же мыслях, — тем, что она и к нам могла бы относиться, как к Пиколе, потому что мы тоже это вполне заслужили.

Наконец девочки вышли из лавки. У каждой в руках было по два стаканчика мороженого, у Пиколы — апельсиновое и ананасное, а у Морин — малиновое и черносмородиновое.

— Вы бы тоже себе мороженое купили, — посоветовала нам Морин. — У них там всякое есть. — И она повернулась к Пиколе: — Только не доедай вафли до конца.

— Почему?

— Потому что там внизу муха.

— Откуда ты знаешь?

— Ой, ну не всегда, конечно! Но одна девочка мне рассказывала, что однажды на донышке вафельного стаканчика обнаружила муху, и с тех пор она донышко всегда выбрасывает.

— О!

Мы миновали театр «Дримленд»[10]; с витрины нам улыбалась Бетти Грейбл[11].

— Ну как можно ее не любить? — воскликнула Морин.

Пикола что-то буркнула в знак согласия, а я решила возразить:

— Хеди Ламар[12] лучше.

Морин закивала:

— Это точно! Мама мне рассказывала, как одна девушка — ее Одри звали, это было там, где мы раньше жили, — пришла в салон и попросила хозяйку уложить ей волосы, как у Хеди Ламар, а хозяйка ей и говорит: «Разумеется, уложу, когда ваши волосы станут хоть немного похожи на волосы Хеди Ламар». — И Морин засмеялась; смех у нее был довольно приятный.

— Она что, совсем дура была? — спросила Фрида.

— Да уж точно не в себе. Представляешь, у нее еще даже министраций не было, хотя ей уже

---

[10] Примечания: 10

Вариант летнего театра, где давали представления местные и приезжие артисты.

[11] Примечания: 11

Бетти Грейбл (1916–1973) — американская актриса, снималась с детства.

[12] Примечания: 12

Хеди Ламар (1914–2000) — австрийская и американская актриса.

шестнадцать исполнилось! А у вас уже есть?

— Да, — твердо ответила Пикола и глянула на нас.

— И у меня тоже! — с откровенной гордостью сообщила Морин. — Два месяца назад начались. Моя подружка в Толедо, где мы жили раньше, рассказывала, что, когда у нее это началось, она до смерти перепугалась. Думала, что она как-то нечаянно себя до смерти поранила.

— А ты знаешь, для чего это бывает? — Пикола задала этот вопрос так, словно надеясь подтолкнуть к нужному ответу.

— Для детей, — уверенно ответила Морин, вздернув тонкие, точно карандашом прорисованные брови и удивляясь очевидности вопроса. — Ребенку нужна кровь, когда он у тебя внутри, и в это время у тебя никаких министраций не бывает. А когда никакого ребеночка у тебя внутри нет, тебе не нужно кровь приберегать, вот она наружу и выходит.

— А как же ребеночек эту кровь получает? — спросила Пикола.

— Через такую соединительную трубочку. Ну, там, где у тебя пупок, понимаешь? Именно оттуда и растет та трубочка, что кровь младенцу откачивает.

— Но если пупок служит для того, чтобы из него соединительная трубочка к младенцу выросла, то зачем же у мальчишек пупки? Они ведь у них тоже есть. А дети только у девушек бывают.

Морин ответила не сразу, но все же призналась:

— Ну, этого я не знаю. Так ведь у мальчишек и всякие другие вещи есть, которые им совершенно не нужны, правда?

Мы дружно рассмеялись, но смех-колокольчик Морин звучал значительно громче нашего нервного хихиканья. Я заметила, как она облизнула языком край стаканчика, подхватив пурпурную каплю, и у меня даже слезы на глазах выступили, так хотелось мороженого. Мы ждали на перекрестке, когда переключится светофор, и Морин все облизывала края вафельного стаканчика, а не обкусывала их, как сделала бы я. Ее язык так и мелькал, аккуратно описывая круги по внутреннему краю стаканчика. Пикола со своим мороженым уже покончила, а Морин явно нравилось растягивать удовольствие. Пока я размышляла, кто как ест мороженое, она, видно, все продолжала развивать про себя последнюю мысль насчет «ненужных вещей» у мальчишек, потому что вдруг спросила у Пиколы:

— А ты голого мужчину когда-нибудь видела?

Пикола нервно моргнула и отвела глаза.

— Нет, конечно. Где это я могу голого мужчину увидеть?

— Не знаю. Я просто спросила.

— Да я бы на него и смотреть-то не стала, даже если он мне попался! Вот гадость-то! Интересно, кому это захочется голого мужчину разглядывать? — Пикола нервничала все сильней, и это было заметно. — Да разве ж какой отец станет голышом перед своей дочерью красоваться? Только самый что ни на есть гадкий, наверное.

— А я про отца ничего и не спрашивала! Я просто сказала: «голый мужчина».

— Ну тогда…

— А чего это ты сама-то вдруг про отца заговорила? — ехидно поинтересовалась Морин.

— Ты что, меренга клыкастая, дура совсем? Какого еще мужчину она может у себя дома увидеть?

Я с наслаждением воспользовалась возможностью хоть как-то излить свой гнев. Но гнев этот был вызван не только тем, что мороженого нам не досталось, скорее я злилась из-за того, что мы-то своего отца голым видели достаточно часто, и не очень хотелось, чтобы нам об этом

напоминали и заставляли нас испытывать стыд, потому что никакого стыда мы не испытывали. Помнится, отец как-то шел по коридору из ванной в спальню, а дверь в нашу комнату была открыта. Мы уже лежали в постелях, но еще не спали. Отец остановился и заглянул к нам, пытаясь понять, действительно ли мы спим или же таращимся на него в темноте широко раскрытыми глазами. Похоже, он все-таки решил, что спим, и преспокойно удалился, будучи абсолютно уверенным, что его девочки не станут лежать, затаившись, с открытыми глазами и смотреть, смотреть… Когда отец ушел, оказалось, что темнота забрала из нашей комнаты только его самого, но не его наготу. Его мужская нагота так и осталась с нами. Вроде как по дружбе.

— Во-первых, я вообще не с тобой разговариваю! — резко отбрила меня Морин. — А во-вторых, мне совершенно все равно, видит Пикола своего отца голым или не видит. Да пусть она хоть целыми днями на него, голого, любуется, если хочет. Кому какое дело?

— Тебе-то, видно, дело есть, — заметила Фрида. — Ты только об этом и говоришь.

— Ничего подобного!

— Именно так. Мальчики, младенцы в живо-

те, чей-то голый папаша. Да ты на этом просто чокнулась!

— Ты бы лучше молчала.

— А кто меня молчать заставит? Может, ты? — Фрида с вызывающим видом подбоченилась и надвинулась на Морин. — Да где тебе? Ты же вся такая прилизанная, мамочкой зацелованная!

— Оставь мою маму в покое!

— А ты моего отца в покое оставь!

— Да кому он нужен, твой старикашка?

— Тебе, видно, и нужен. Ты же весь этот разговор затеяла.

— Да я вообще не с тобой разговаривала, а с Пиколой!

— Ага. Насчет того, видела ли она своего отца голым.

— Ну и что? Что, даже если и видела?!

И тут не выдержала Пикола:

— Да никогда в жизни я своего папу голым не видела! Никогда в жизни!

— Да не ври ты! — вдруг разозлилась Морин. — Видела ты его! Так и Бэй Бой говорит.

— Никого я не видела!

— Видела!

— Не видела!

— Видела! И все время своего папашу голым

видишь!

Пикола, сгорбившись, словно от удара, каким-то смешным, печальным и беспомощным движением втянула голову в плечи. Казалось, от стыда ей хочется вобрать внутрь даже собственные уши, и я опять решила вступиться:

— Кончай всякие глупости насчет ее отца болтать!

— Да какое мне дело до какого-то черномазого старикашки? — возмутилась Морин.

— Черномазого? Ты кого это черномазым обзываешь?

— Тебя, например! И всех вас!

— А себя, значит, белой считаешь? Умницей и красавицей?

Я попыталась ее ударить, но промахнулась и нечаянно заехала в лицо Пиколе. Собственная неуклюжесть настолько меня разозлила, что я швырнула в Морин своим школьным дневником, но она, к сожалению, уже успела развернуться, так что мой дневник угодил ей всего лишь в задницу, прикрытую бархатным пальтишком. Она со всех ног бросилась через улицу, несмотря на красный сигнал светофора, и, оказавшись в безопасности, во все горло завопила, победоносно глядя на нас:

— Да, я умница и красавица! А вы уродины! Черномазые уродины! Чернее черного! Вот и завидуете, что я такая умная и красивая!

Она убегала от нас по той стороне улицы, и ее быстро мелькавшие ноги в зеленых гольфах были похожи на стебельки одуванчиков с уже облетевшими белыми головками. Тяжесть брошенных Морин оскорблений настолько ошеломила нас, что мы с Фридой даже как-то растерялись, а потому лишь с некоторым опозданием завопили ей вслед: «Меренга шестипалая! Собачий клык!» Это было, пожалуй, самое обидное прозвище из нашего арсенала, и мы выкрикивали его до тех пор, пока могли видеть в толпе ее быстро мелькавшие зеленые ноги-стебельки и белый кроличий мех на бархатном пальтишке.

Прохожие хмурили брови, глядя на трех беснующихся на тротуаре черномазых девчонок; мы с Фридой выглядели, должно быть, особенно «живописно»: кое-как свернутые куртки водружены на голову, так что воротник спускается до бровей, точно плат монахини; из-под платья выглядывают черные резинки для чулок, а сами короткие и сильно поношенные коричневые чулки едва прикрывают колени. Я посмотрела на Фриду и поняла, что и у меня самой такое же выражение

лица: от злости наши лица словно собрались в тугой узел и стали похожи на цветную капусту, но черного цвета.

Пикола стояла чуть в стороне и неотрывно смотрела туда, где скрылась Морин. Она была похожа сейчас на больную птичку, беспомощно сложившую крылья и свернувшуюся клубком. Ее тихая боль вызывала у меня яростное желание как-то этому противодействовать. Например, взять Пиколу и всю развернуть так, чтоб хрустнули косточки, а потом врезать палкой по ее жалкому согнутому позвоночнику, заставить ее выпрямиться во весь рост и выплюнуть это ощущение собственной нищеты и ничтожества прямо на тротуар. Но Пикола продолжала удерживать свою боль внутри; о том, как ей плохо, можно было догадаться только по выражению ее глаз.

Фрида не выдержала первой. Сорвав куртку с головы, она сказала мне: «Идем, Клодия. Пока, Пикола», и мы быстро пошли прочь. Потом, правда, все чаще стали останавливаться — для того, чтобы пристегнуть отскочившую резинку, или завязать шнурок, или почесаться, или рассмотреть старые шрамы. Мы были просто придавлены тяжестью тех, по-своему мудрых,

точных и уместных слов, которые Морин выкрикивала, убегая от нас. Если она действительно умница и красавица — а в это и впрямь трудно было не поверить, — значит, мы ни то, ни другое. Мы во всех отношениях гораздо хуже. Ниже. Мы, может, тоже очень хорошие и сообразительные, но все равно хуже и ниже Морин. Да, уничтожать голубоглазых кукол мы умели отлично, но как уничтожить медовые интонации в голосах наших родителей и родственников, покорность в глазах наших ровесников, огонек тайной благожелательности в глазах наших учителей, когда они вызывают к доске таких, как Морин Пил? Нет, такое было нам не под силу.

В чем же секрет? Чего нам не хватает? В чем наш главный недостаток? И почему все это оказалось для нас так важно? Выходит, мы, такие простодушные, лишенные тщеславия, все-таки оказались слишком самолюбивы? Но почему бы и нет? Мы действительно вполне уютно чувствовали себя в своей черной коже; мы радовались тому, что сообщали наши органы чувств; мы обожали иной раз хорошенько выпачкаться, гордились собственными шрамами и никак не могли понять, почему все это так уж плохо, недостойно. Ревность, зависть — эти чувства

были нам знакомы, и мы считали их вполне естественными: это же нормально — желать то, что есть у кого-то другого; но зависть к Морин Пил оказалась чувством совершенно иного рода, новым для нас. Мало того, мы и сами прекрасно понимали, что Морин Пил — это не настоящий Враг, что она уж точно не заслуживает столь интенсивной ненависти. Бояться нужно было ТОГО, отчего красивой считалась именно она, а не мы.

В доме было тихо; как только мы открыли дверь, в нос ударил острый запах тушащейся репы, наполнив наши рты кислой слюной.

— Мам!

Ответа не последовало, но послышались шаркающие шаги мистера Генри, и он спустился на несколько ступенек по лестнице. На нем был только банный халат, из-под которого высунулась одна толстая безволосая нога.

— Привет, привет, Грета Гарбо, привет, Джинджер Роджерс.

Мы, естественно, тут же захихикали, поскольку знали: он именно этого от нас и ожидает.

— Здравствуйте, мистер Генри. А где мама?

— Она к вашей бабушке пошла. А вам велела выключить репу и перекусить крекерами, пока она не вернется. То и другое на кухне.

Некоторое время мы в глубоком молчании сидели на кухне и крошили крекеры, строя из них муравейники, а потом к нам снова спустился мистер Генри, только теперь на нем под халатом были штаны.

— А ну признавайтесь: мороженого хотите?

— Ой, да, сэр, конечно!

— Ну, вот вам четвертак. Ступайте к Исали и купите себе мороженого. Вы ведь хорошо себя вели, не так ли? — Эти слова показались нам светло-зелеными, как весенний день.

— Конечно, хорошо, сэр! Спасибо вам! Мистер Генри, а вы маме скажете, если она раньше нас вернется?

— Конечно, скажу. Но, я думаю, она еще не скоро придет.

Мы выскочили из дома без курток и уже дошли почти до угла, когда Фрида вдруг заявила:

— Не хочу я к Исали идти!

— Чего это?

— И мороженого я не хочу. Я хочу картофельных чипсов.

— У Исали и чипсы есть.

— Да знаю я! Просто не хочется в такую даль тащиться. Чипсы можно и у мисс Берты купить.

— А я хочу мороженое!

— Никакого мороженого ты не хочешь, Клодия.

— Неправда, хочу!

— Ну и тащись к Исали! А я к мисс Берте пойду.

— Но ведь четвертак-то у тебя! А одной мне туда неохота тащиться.

— Тогда идем к мисс Берте. Купим там твои любимые леденцы.

— Они у мисс Берты всегда какие-то лежалые. А тех, что мне нравятся, у нее вообще часто не бывает.

— Ничего, сегодня пятница, а ей по пятницам всегда все свежее привозят.

— И потом там живет этот старый псих Мыльная Голова.

— Ну и что? Мы же вдвоем будем. А если он попробует нам что-то сделать, мы убежим.

— Все равно я его боюсь.

— Ну, тогда иди к Исали. А я туда не пойду. Может, эта зубастая меренга до сих пор там околачивается. Или ты, Клодия, хочешь снова с ней повидаться?

— Ладно. Идем к мисс Берте. И я куплю себе леденцы.

У мисс Берты был крохотный магазинчик в кир-

пичной пристройке, выходившей в переднюю часть двора; она торговала там конфетами, чипсами, нюхательным табаком и сигаретами. Если в магазине мисс Берты случайно не оказывалось, достаточно было просто выйти во двор и постучаться в заднюю дверь, ведущую в жилую часть ее домика. Но в тот день мисс Берта оказалась на месте. Восседала за кассой в полосе солнечного света, падавшего из окошка, и читала Библию.

Фрида купила себе картофельные чипсы, а еще мы купили за десять центов целых три конфетины «Пауерхаус» и, получив десять центов сдачи, поспешили домой. Мы решили забраться в густые заросли сирени у боковой стены дома и устроить себе «леденцовый праздник». Мы всегда такие праздники там устраивали — пусть эта противная Розмари нас видит, пусть обзавидуется! «Леденцовый праздник» состоял из негромкого пения, притопывания ногами и сладострастного, с громким чавканьем, поедания сладостей, когда они у нас были. Прокравшись между кустами сирени и стеной дома, мы услышали голоса и смех. И заглянули в окно гостиной, ожидая увидеть там маму.

Но увидели мистера Генри, а с ним двух женщин. В шутливой манере, примерно так бабушки

играют с малышами, он обсасывал пальцы одной из женщин, а та весело хохотала, склонившись у него над головой. Вторая женщина уже стояла одетая и застегивала пуговицы на пальто. Мы сразу их обеих узнали, и по спине у нас поползли мурашки. Одну звали Чайна, а вторую — Линия Мажино[13]. От волнения у меня даже шея сзади зачесалась. Это были проститутки из маникюрного зала для цветных. Это «грязное заведение» и этих «грязных женщин» и мама, и Большая Мама просто ненавидели. А тут они расселись в нашей гостиной!

Чайна, правда, показалась нам не настолько ужасной — просто худенькая стареющая женщина с рассеянным взглядом и, с нашей точки зрения, совершенно неагрессивная. Зато Линия Мажино была точно из тех, про кого мама говорила, что «даже есть из своих тарелок им не позволила бы». На таких женщин добрые прихожанки и глаз поднять не осмеливались. Судя по разговорам, подобные особы были способны на все: убивать людей, жечь и травить их, а также

[13] Примечания: 13

Линия Мажино — оборонительная линия, построенная в период между Первой и Второй мировыми войнами от севера Франции до Средиземного моря, названная в честь французского военного министра Андре Мажино.

почем зря их обманывать. Хотя мне почему-то показалось, что лицо Линии Мажино, если убрать с него всю жирную «боевую раскраску», было по-настоящему милым и даже довольно симпатичным. Однако я слышала о ней столько всяких грязных или не слишком лестных отзывов, столько раз видела, как презрительно опускаются уголки губ при одном лишь упоминании ее имени, что даже и размышлять не стала, есть ли у нее какие-то положительные свойства.

А Чайна веселилась вовсю, показывая дурные коричневые зубы и, похоже, получая удовольствие от забав мистера Генри. Увидев, как он обсасывает ее пальцы, я невольно вспомнила картинки из тех гнусных журналов с девицами, что валялись у него в комнате, и где-то внутри меня шевельнулся холодный ветерок, вздымая сухие листья ужаса и неясного желания. Мне показалось, что по лицу Линии Мажино скользнула тень грустного одиночества. Но, возможно, это было всего лишь плодом моего воображения, так необычно выглядели ее неторопливо раздувающиеся от дыхания ноздри и глаза, почему-то вызывавшие во мне воспоминания об увиденных в каком-то фильме водопадах на Гавайских островах.

Линия Мажино зевнула и сказала:

— Идем, Чайна. Нельзя же целый день тут торчать. Народ-то, небось, скоро домой повалит.

Она решительно двинулась к двери, а мы с Фридой рухнули на землю ничком, испуганно друг на друга поглядывая. В дом мы решились войти, лишь убедившись, что обе женщины отошли уже достаточно далеко. Мистер Генри сидел на кухне и открывал бутылку с шипучкой.

— Уже вернулись?

— Да, сэр.

— Неужели у Исали мороженое кончилось?

Он улыбался, показывая мелкие зубы, и выглядел таким добрым и беспомощным, что трудно было поверить: неужели это действительно он, наш мистер Генри, только что облизывал пальцы Чайны?

— Мы решили вместо мороженого конфет купить.

— Конфет, значит? Ну что ж, Грета Гарбо — сахарные зубки…

Он подмигнул мне, обтер сладкое горлышко бутылки и поднес к губам — от этого жеста мне стало не по себе, а Фрида вдруг резко спросила:

— Кто были эти женщины, мистер Генри?

Он чуть не подавился своей шипучкой и по-

смотрел на Фриду:

— Что ты сказала?

— Я спросила, кто те женщины, которые только что ушли. Кто они?

— Ах, эти! — И он рассмеялся таким противным смехом — хе-хе-хе, — каким всегда смеются взрослые, готовясь солгать. Уж мы-то этот смех хорошо знали. — Ну, это женщины из моего библейского класса. Мы вместе читаем и разбираем библейские тексты, вот они и зашли ко мне домой, чтобы кое-что выяснить.

— Угу… — только и сказала Фрида.

А я упорно изучала домашние шлепанцы мистера Генри, лишь бы не видеть его фальшивой доброй улыбки и беззащитных мелких зубов, которые только что послужили рамкой для откровенной лжи. Он уже направился к лестнице, но вдруг остановился, повернулся к нам и попросил:

— Вы уж, пожалуйста, вашей маме о них не рассказывайте. Сама-то она Библии не больно много времени уделяет и не любит, когда ко мне приходят люди из библейской группы, даже если это добрые христиане.

— Нет, мистер Генри. Мы не скажем.

Он быстро поднялся по лестнице, а я спросила

у Фриды:

— Наверно, маме надо все-таки сказать, да?

Фрида вздохнула. Она так и не распечатала ни конфету, ни пакетик с чипсами. Стояла и водила пальцем по обертке. Потом вдруг резко вскинула голову и принялась осматривать нашу кухню.

— Нет. Наверное, говорить все-таки не надо. Похоже, ни одной тарелки из буфета они не доставали.

— Тарелки? Ты это о чем?

— О том, что они не брали наших тарелок. И значит, Линия Мажино из маминых тарелок не ела. А если маме сказать, так она потом весь день психовать будет. — Мы снова сели за стол, уставившись на сооруженные нами муравейники из крошек. — Давай лучше поскорей репу выключим, — сказала Фрида. — А то, если она пригорит, мама нас точно выпорет.

— Это точно.

— С другой стороны, если мы дадим ей пригореть, то ее и есть не надо будет…

«Ого, какая чудная мысль!» — подумала я и спросила:

— А ты сама что предпочитаешь? Чтобы выпороли, но репу было бы не нужно есть? Или чтоб не пороли, но пришлось бы все-таки есть

эту гадость?

— Сама не знаю. А может, сделать так, чтобы репа подгорела совсем чуть-чуть? Тогда мама и папа ее точно есть смогут, а мы притворимся, что не можем.

— Ладно. — Я уже думала о другом, превращая свой «муравейник» в «вулкан». — Слушай, Фрида?

— Что?

— Что такое ты хотела сказать этому Вудроу там, на игровой площадке? Ну, чтоб он заткнулся? Что он такое плохое сделал?

— Да он в кровать мочится! Миссис Кейн жаловалась маме, что он никак не перестанет.

— Вот старая сплетница!

Небо вдруг резко потемнело, и я, выглянув в окно, увидела, что пошел снег. Я ткнула пальцем в жерло своего «вулкана», и золотистые крошки рассыпались мелкими завитками. Репа в кастрюле начинала опасно потрескивать.

ВОТИХКОШКАОНАМЯУКАЕТИДИСЮДА ПОИГРАЙСДЖЕЙННОКОТЕНОКИГРАТЬНЕ ЖЕЛАЕТИГРАТЬНЕЖЕЛАЕТИГРАТЬНЕЖЕЛА

Они приезжают из Мобила. Из Айкена. Из Ньюпорт-Ньюза. Из Мариэтты. Из Меридиана. И названия этих мест в их устах заставляют думать

о любви. Когда спрашиваешь, откуда они, они, качая головой, отвечают «Из Мобила» таким тоном, словно целуют тебя. Или скажут, что они из Айкена, и перед глазами у тебя словно мелькнет белая бабочка с оторванным крылышком, вспорхнувшая с изгороди. Или скажут «Нагадочес», и тебе захочется туда поехать. Ты не знаешь, на что они похожи, эти города, но тебе страшно нравится, когда прямо в воздухе творится некое волшебство, стоит им открыть рот и выпустить на волю названия их родных мест.

Меридиан. Это звучит так гордо, что окна твоей комнаты словно сами собой распахиваются, как при первых четырех нотах гимна. Лишь немногие способны произносить название своего родного города с такой лукавой любовью.

А может, это потому, что родных городов у них вовсе и нет, а есть просто место, где они родились? И все же эти девушки насквозь пропитаны соками родных мест, и это остается в них навсегда. Они, худенькие и цветные, столько лет смотрели на штокрозы на заднем дворе своего дома в Меридиане, Мобиле, Айкене или Батон-Руже, что и сами стали похожи на эти немудреные цветы, спокойные, высокие и не слишком изысканные. Корни штокроз глубоки, а стебли прочны, и ветер

качает лишь их цветы на верхушке. Таковы и эти девушки. У них глаза людей, способных по цвету неба определить, который час. Такие девушки обычно проживают в тихих пригородах, где селятся чернокожие, имеющие приличную работу и вполне обеспеченные. Там на верандах домов покачиваются на цепях качели. Там траву косят косой. Там во дворах красуются петухи и растут подсолнухи. Там ступеньки каждого крыльца и каждый подоконник украшены горшками с «разбитым сердцем», пестрыми вьюнками и «тещиным языком».

Когда такие девушки покупают арбузы и ломкую фасоль прямо с тележки торговца овощами и фруктами, они вывешивают за окно коробку с запиской о необходимом количестве товара — десять фунтов, двадцать пять фунтов, пятьдесят фунтов — и словами «лед не нужен». Особенно сильно от своих цветных сестер отличаются уроженки Мобила и Айкена. Они совершенно лишены суетливости и нервозности и не склонны пронзительно вопить по любому поводу; у них, правда, нет таких стройных прелестных шеек, как у настоящих чернокожих девушек; у тех шейка словно сама собой вытягивается, вырастает из невидимого воротника. И глаза у девушек из Мо-

била и Айкена «не кусают», не жгут огнем. У них кожа цвета коричневого сахара, и по улицам они ходят всегда спокойно, не вздрагивая. Они такие же сладкие и простые, как масляное печенье. Но у них красивые тонкие запястья и щиколотки, а ступни длинные и узкие.

Они моются оранжевым мылом «Лайфбуой», припудривают тело тальком «Кашмирский букет», чистят зубы тряпочкой, на которую насыпают соль, а кожу смягчают лосьоном «Джергенс».

От них пахнет деревом, газетами и ванилью. Они распрямляют волосы с помощью «Дикси пич» и старательно зачесывают их на косой пробор. На ночь они накручивают волосы на папильотки из коричневой оберточной бумаги, затем обвязывают голову цветным шарфом и спят, стараясь не двигаться и скрестив руки на животе.

Они не пьют, не курят, не употребляют неприличных слов и по-прежнему называют секс словом «непотребство». В хоре они всегда поют вторым сопрано, и даже тем, у кого голос на редкость чистый и плавный, никогда не получить партию соло.

Они всегда во втором ряду — белые блузочки накрахмалены, синие юбочки от усердной глаж-

ки стали почти фиолетовыми. Они поступают на бюджетное отделение в колледжи или в педагогические училища и неплохо умеют потом выполнять ту работу, которую обычно выполняют белые мужчины, но с дополнительным бонусом: они в совершенстве владеют домашней экономией, умеют хорошо готовить, обладают достаточными педагогическими навыками, чтобы научить чернокожих детей быть послушными, а также способны музицировать, если нужно утешить усталого хозяина дома и развеселить его грубоватую душу. Здесь они получают последний урок того, чему и сами начали учиться в тех милых тихих домах с качелями на веранде и «разбитым сердцем» на подоконниках: урок правильного поведения в жизни. Понемногу они развивают в себе бережливость, терпение, высоконравственные представления и хорошие манеры.

Короче, они учатся избавляться от страха. Ужасного страха, который испытывают перед лицом страсти, перед лицом природы, перед всем широким спектром человеческих эмоций. И как только этот страх пытается где-то прорасти, они решительно сметают его со своего пути; он хрустит у них под ногами — они смывают его

всевозможными жидкостями; где бы ни появился росток этого страха, где бы на них ни упала хоть капля его ядовитого липкого сока — они тут же начинают с ним сражаться и неизменно побеждают. Сражения эти они ведут всю жизнь вплоть до могилы, что едва заметно проявляется и в чуть более громком, чем допускают приличия, смехе, и в слишком правильном произношении, и в несколько чрезмерной жестикуляции. Они втягивают попу, опасаясь, что вольный размах их бедер будет выглядеть «непристойным»; они никогда не покрывают помадой всю поверхность губ из страха, что их губы могут показаться слишком толстыми, «негритянскими»; и, боже мой, как же они беспокоятся, беспокоятся, беспокоятся из-за своих вьющихся волос!

Похоже, у них никогда не бывает бойфрендов, но они всегда успешно выходят замуж. Кое-кто из мужчин, исподволь наблюдая за такой девушкой и старательно делая вид, что вовсе ее не замечает, прекрасно знает, что если она войдет к нему в дом как его супруга, то он всегда будет спать на душистых простынях, белоснежных от кипячения, высушенных на улице в зарослях можжевельника и тщательно отглаженных тяжелым утюгом, фотография его матери будет неизменно укра-

шена хорошенькими бумажными цветочками, а самое видное место в гостиной будет занимать Библия. И, понимая это, мужчины чувствуют, что при такой жене дома всегда будут уют и тепло, что их рабочая одежда к понедельнику будет тщательно починена, выстирана и выглажена, а жестко накрахмаленные воскресные рубашки будут белой пеной вздуваться на вешалке за дверью. Лишь взглянув на руки такой девушки, мужчина понимает, что она способна сотворить из обычного бисквитного теста; он уже чувствует запах свежего кофе и поджаренной ветчины, уже видит белую, исходящую паром овсянку, в которую сверху положена ложка подтаявшего сливочного масла… Бедра такой девушки вселяют в мужчин уверенность, что детей она будет рожать легко и безболезненно. И во всем этом они совершенно правы.

Но ни один мужчина не знает, с каким упорством эта простенькая цветная девчонка начнет вить собственное гнездо, как она будет вкладывать в него веточку за веточкой, превращая его в свой неприкосновенный мирок, и сама встанет на страже каждого домашнего цветочка, каждой травинки, каждой вышитой салфеточки, порой оказывая сопротивление даже собственному

мужу. Она молча и упрямо будет возвращать настольную лампу именно туда, куда поставила ее в первый раз; она будет убирать со стола грязную посуду сразу же, как только будет проглочен последний кусок приготовленной ею еды; она будет каждый раз заново натирать медную ручку на двери, стоит кому-то взяться за нее грязными руками. Одного брошенного искоса взгляда будет достаточно, чтобы муж понял: курить полагается на заднем крыльце. Соседские дети моментально почувствуют, что им нельзя без спросу зайти к ней во двор, даже чтобы забрать случайно залетевший туда мячик. Но мужчины о таких вещах понятия не имеют. Не знают они и того, что тело свое она будет дарить мужу весьма экономно и очень понемногу. Он должен будет овладевать ею как бы украдкой, приподнимая подол ее ночной сорочки максимум до уровня пупка. А во время занятий любовью он непременно должен будет поддерживать на локтях собственный вес, чтобы ненароком не повредить ее груди будущей матери, хотя на самом деле она таким образом станет просто избавлять себя от лишних соприкосновений с его разгоряченным телом.

Когда он проникнет в нее и начнет там двигаться, она каждый раз будет размышлять, почему

столь необходимые, но интимные части тела не размещены в каком-нибудь более удобном месте — например, под мышкой или на ладони. Где-нибудь, куда можно легко и быстро добраться, не раздеваясь. Она буквально окаменеет, почувствовав, что одна из ее бумажных папильоток отцепилась во время любовных игр, и сразу же определит про себя, которую нужно будет спешно поправить, как только муж кончит, и хорошо бы он при этом не слишком обильно потел, потому что капли его пота могут попасть ей на волосы. Сама она предпочитает оставаться сухой — особенно там, между ногами, — и ненавидит все эти хлюпающие и шлепающие звуки. Почувствовав, что он близок к оргазму, она начнет быстрее двигать бедрами, вопьется ему в спину ногтями, будет стонать и задыхаться, притворяясь, что наивысшее блаженство она уже испытала. Она и при шестисотом соитии наверняка будет способна размышлять, на что же все-таки похоже это «наивысшее блаженство», именуемое «оргазмом». По ее представлениям, это больше всего должно напоминать то удивительное ощущение, когда она шла по улице, а гигиеническая прокладка сбилась и стала мягко двигаться у нее между ногами. Мягко, нежно, ласково… И вдруг в

самом низу живота у нее возникло легкое, но отчетливое и весьма приятное ощущение. А потом оно настолько усилилось, что ей даже пришлось остановиться посреди улицы и плотно сжать бедра, чтобы хоть немного его продлить. Вот, наверное, это и есть «то самое», подумает она. Интересно, почему этого никогда не происходит, когда они с мужем занимаются любовью? И она будет с нетерпением ждать, когда же он, наконец, от нее отвалится, а потом, с облегчением одернув ночную сорочку, выскользнет из кровати и удалится в ванную.

Иногда ее забот и внимания сумеет удостоиться некое живое существо. Например, кошка. Кошке придется по душе аккуратность и четкость ее действий, постоянство ее привычек, и она постарается быть такой же чистенькой и спокойной, как хозяйка. Она будет тихо сидеть на подоконнике и ласкать хозяйку взглядом. А хозяйка сможет брать кошку на руки, и та будет задними лапками упираться ей в грудь, а передние класть на плечо. Хозяйка будет гладить кошку по мягкой шерстке, чувствуя под ней расслабленную плоть. И вскоре при самом легком прикосновении хозяйки кошка — или, точнее, кот — станет мурлыкать, потягиваться, жмуриться и даже открывать

пасть в приступе чувственного наслаждения. А у его хозяйки будет при этом возникать «то самое» странно приятное ощущение. Когда она, стоя у кухонного стола, будет готовить еду, кот станет кружить возле ее ног, нежно и ласково касаясь икр, и странное вибрирующее ощущение от его прикосновений будет спиралью подниматься к ее бедрам и захватит ее настолько, что у нее даже пальцы слегка задрожат, оставшись погруженными в тесто для пирога.

Или, уютно устроившись, она примется читать раздел «Духоподъемные мысли» в журнале «Либерти», а кот возьмет да и вспрыгнет к ней на колени. И она начнет ласкать этот мягкий шерстяной комок, позволяя теплу кошачьего тела просочиться вглубь, до самых сокровенных частей ее бедер. И вскоре журнал упадет на пол, а она чуточку раздвинет ноги, и оба они погрузятся в дремотную неподвижность и нежное наслаждение до тех пор, пока ровно в четыре часа в дом не ворвется явившийся с работы нарушитель спокойствия — муж, которого интересует только то, что жена приготовила на обед.

Этот кот всегда будет точно знать: в смысле ее привязанностей он всегда на первом месте. Даже когда она родит ребенка. Ибо ребенка она

и впрямь обязательно родит — легко и безболезненно, как и предполагалось. Но только одного. Сына. И его будут звать Джуниор, что значит «младший».

Одна такая девушка из Мобила, или Меридиана, или Айкена — у нее никогда не выступал пот под мышками и влага между ногами во время соития, а пахло от нее деревом и ванилью, и она отлично умела готовить суфле в своем подразделении «Домашняя экономика», — переехала со своим мужем Луисом в Лорейн, штат Огайо. Звали ее Жеральдиной. Там она стала вить себе гнездо, гладить мужу рубашки, расставлять повсюду горшки с «разбитым сердцем», играть с котиком, а потом и Луиса-младшего родила.

Жеральдина не давала своему малышу — она звала его Джуниор — плакать и прекрасно справлялась со всеми его потребностями, пока они оставались чисто физическими; она всегда могла его успокоить и накормить до отвала. Ребенок был выкупан, причесан, смазан маслом, одет и обут. Правда, Жеральдина с ним почти не разговаривала, никогда не ворковала, склонившись над его кроваткой, не налетала на него с поцелуями в приступе материнской любви, зато она всегда тщательно следила за тем, чтобы все прочие его

потребности были удовлетворены. Мальчик довольно быстро обнаружил, сколь по-разному его мать относится к нему самому и к их коту. Чем старше становился Джуниор, тем лучше у него получалось переадресовывать на кота ту ненависть, которую он порой испытывал к матери, и он не раз испытывал настоящее наслаждение, видя, как животное страдает. Кот выжил только потому, что Жеральдина редко уходила из дома, а если Джуниор все-таки успевал учинить над ним очередное насилие, она всегда находила вполне эффективный способ, чтобы утешить несчастное существо.

Это семейство — Жеральдина, Луис, Джуниор и кот — проживало совсем рядом с игровой площадкой, принадлежавшей школе имени Вашингтона Ирвинга. Джуниор считал эту площадку своей собственностью, и все остальные ученики школы завидовали тому, что он может спать почти до звонка на первый урок, ходить домой обедать и властвовать на площадке после окончания занятий. Джуниору было ненавистно зрелище пустующих качелей, горок, всевозможных лазалок и прочих снарядов для детских игр, и он всеми способами старался заставить ребят торчать на площадке как можно дольше. Белых

ребят, разумеется. Его мать не любила, когда он играл с «ниггерами». Она давно объяснила, в чем разница между цветными и неграми. Отличить их было легко. Цветные всегда были аккуратными и тихими, а негры — грязными и шумными. Джуниор принадлежал к первой группе — он носил белые рубашки и синие брюки; его волосы были подстрижены максимально коротко, чтобы исключить любое предположение о «негритянской шерсти»; это, помимо матери, вбил ему в голову еще и парикмахер. Зимой мать мазала ему лицо лосьоном «Джергенс», чтобы на холоде его кожа не приобретала пепельного оттенка, потому что при всей его светлокожести оттенок этот все-таки порой у него проявлялся. Ему самому, впрочем, граница между цветным и негром не всегда представлялась отчетливой; а некоторые неясные и предательские признаки угрожали и вовсе ее стереть, так что приходилось постоянно быть настороже.

Джуниор часто мечтал поиграть с чернокожими мальчишками. Больше всего на свете его привлекала игра «Царь горы»; ему хотелось, чтобы эти мальчишки сперва попробовали стащить его с «горы», а точнее, с кучи земли, а потом набросились бы на него всей ватагой и стали бы через

него перекатываться. Ему хотелось почувствовать их затвердевшие от возбуждения маленькие пенисы и ощутить дикий аромат их черной кожи; хотелось, как и они, лениво бросить порой: «Да пошли вы все…». Ему хотелось сидеть вместе с ними на бордюрном камне, время от времени сравнивая остроту больших складных ножей, а также дальность и высоту полета плевков.

В туалете ему хотелось разделить с чернокожими мальчишками лавры чемпиона по дальности и длительности струи. На какое-то время Бэй Бой и Пи Эл стали для него настоящими идолами. Но постепенно он, соглашаясь с матерью, пришел к выводу, что и Бэй Бой, и Пи Эл для него недостаточно хороши. Он играл только с Ральфом Нисенски, который был на два года моложе, носил очки и не хотел ничего делать. А еще Джуниору все сильней нравилось изводить девчонок. Было так легко заставить их визжать и спасаться бегством. А как он смеялся, когда кто-то из девчонок падал и из-под задравшейся юбки выглядывали ее трусики или трико! Особенно ему был приятен вид несчастной смущенной девчачьей физиономии. Но к чернокожим девчонкам Джуниор особенно приставать не решался. Они обычно ходили стайками, и однажды, когда он кинул в

одну камень, девчонки устроили на него настоящую охоту, поймали и отлупили до беспамятства. Ему пришлось соврать матери и сказать, что он подрался с Бэй Боем. Мать очень расстроилась. А отец промолчал и продолжил читать газету.

Когда у Джуниора бывало настроение, он мог позвать проходившего мимо ребенка и пригласить его поиграть на площадке или покачаться на качелях. Если ребенок отказывался или же соглашался, но слишком быстро уходил, Джуниор начинал швырять ему вслед гравий и со временем обрел изрядную меткость.

Поскольку дома ему было то страшно, то скучно, его единственной отрадой стала игровая площадка. Однажды, когда он как-то особенно изнывал от безделья, на глаза ему попалась какая-то очень чернокожая девочка, которая, срезая путь, пересекала его игровую площадку. Она шла, опустив голову, и Джуниор вспомнил, что и раньше не раз ее видел: она всегда стояла одна, в сторонке, и никто никогда с ней не играл. Наверное, подумал он, из-за того, что она такая черная и некрасивая.

И сейчас он решил ее окликнуть:

— Эй! Ты чего это через мой двор ходишь? — Девочка остановилась. — Без моего разрешения

никто здесь ходить не может!

— Это не твой двор, а школьный.

— Но я здесь главный. — Девочка не ответила и попыталась уйти, но он снова ее окликнул: — Погоди! Если хочешь, можешь здесь поиграть. Тебя как зовут?

— Пикола. И играть я не хочу.

— Ну, давай поиграем! Я же ничего плохого тебе не сделаю.

— Мне надо домой.

— А хочешь кой на что хорошенькое посмотреть? У меня правда есть кое-кто очень симпатичный. Хочешь, покажу?

— Нет. А кто это?

— А пошли ко мне домой. Видишь, вон мой дом, тут рядом. Идем. И я всё тебе покажу.

— Что всё?

— Да котят! У нас ведь котята. Кстати, если хочешь, можешь одного взять.

— Настоящие котята?

— Ага. Идем.

Он тихонько потянул ее за платье, и Пикола начала потихоньку двигаться в сторону его дома. Когда Джуниор понял, что она согласилась, он в возбуждении бросился вперед, время от времени оборачиваясь и крича ей, чтобы шла быстрее. Он

даже дверь для нее придержал и ободряюще ей улыбался, но Пикола, уже поднявшись на крыльцо, снова в страхе заколебалась. Ей показалось, что в доме очень темно. Джуниор пояснил:

— Просто там никого нет. Мама куда-то ушла, а отец на работе. Ну что, хочешь котят-то посмотреть?

Джуниор включил свет. Пикола переступила порог. Как красиво, думала она. Какой красивый дом! В столовой на столе лежала большая красная с золотом Библия. На спинках и подлокотниках кресел — хорошенькие кружевные салфеточки, и в центре большого обеденного стола — тоже, и на маленьких столиках. Все подоконники были уставлены цветами в горшках. А на стене в раме висела большая цветная картина с изображением Иисуса Христа, и к раме был прикреплен очаровательный букет бумажных цветов. Пиколе хотелось медленно-медленно рассматривать всю эту красоту, но Джуниор все подгонял ее: «Ну, идем же, идем!» И вскоре они оказались еще в одной комнате, пожалуй, даже красивее первой. Там было невероятное количество кружевных салфеточек, большая красивая лампа с белым абажуром на зеленом с золотом постаменте. А на полу был даже ковер с огромными темно-крас-

ными цветами! Пикола в полном восхищении созерцала эти цветы и не сразу расслышала, что Джуниор что-то ей говорит. Когда она обернулась, он с воплем: «Вот тебе твой котенок!» — швырнул прямо ей в лицо большого черного кота. У нее даже дыхание перехватило от ужаса и неожиданности, а рот сразу забило кошачьей шерстью. Кот, пытаясь вырваться, сперва вцепился когтями ей в лицо и в грудь, но потом все же вывернулся и ловко спрыгнул на пол.

Джуниор, сгибаясь от хохота пополам и явно пребывая в диком восторге, бегал по комнате. Пикола коснулась кровавых царапин на лице, поняла, что сейчас расплачется, и двинулась к двери, но Джуниор тут же преградил ей путь, заявив:

— Ты никуда отсюда не выйдешь! Ты теперь моя пленница. — Взгляд у него был веселый, но жесткий.

— Выпусти меня!

— Ни за что!

И он так толкнул ее, что она шлепнулась на пол, а сам выбежал в смежную комнату и закрыл дверь, да еще и руками ее придержал. А когда Пикола принялась барабанить в дверь кулаками, он снова захохотал своим противным визгливым

хохотом.

У Пиколы ручьем хлынули слезы; она перестала ломиться в дверь и закрыла лицо руками. Вдруг что-то мягкое и мохнатое скользнуло рядом, у ее ног. Она так и подскочила от страха, но потом увидела, что это кот вьется у ее ног, стараясь коснуться их всеми частями своего длинного тела. Пикола моментально забыла свои страхи и присела на корточки, чтобы погладить кота. Руки у нее были мокры от слез. Кот ласково потерся головой о ее колено. Шерсть у него была совершенно черная, шелковистая, а глаза, слегка косившие к носу, светились и отливали голубовато-зеленым, как лед. Пикола погладила кота между ушами и по спинке, и он запел, даже облизываясь от удовольствия. Пикола была прямо-таки заворожена его голубыми глазами, ярко выделявшимися на черной мордочке.

Джуниор, удивленный тем, что больше не слышит рыданий девочки, приоткрыл дверь и увидел, что она сидит на корточках и гладит кота по спинке, а кот от наслаждения вытягивает шею и щурится. Это выражение на кошачьей морде Джуниор много раз видел и раньше, когда кота ласкала мать.

— А ну отдавай моего кота!.. — У него даже голос

сорвался. Неуклюжим, но уверенным движением он схватил кота за заднюю лапу и принялся крутить у себя над головой.

— Перестань! — закричала Пикола.

Кот судорожно вытянул передние лапы, пытаясь уцепиться за что угодно, лишь бы прекратить эту кошмарную пытку; пасть у него была широко раскрыта, а из глаз синими потоками лился ужас.

Продолжая пронзительно кричать, Пикола схватила Джуниора за руку. И услышала, как ее платье треснуло под мышкой. Джуниор попытался оттолкнуть девочку, но она перехватила и ту его руку, которой он крутил в воздухе кота. В итоге оба упали на пол. Падая, Джуниор разжал руку, и кот, как бы продолжая вращательное движение, пролетел через всю комнату, врезался в оконное стекло, сполз по нему и безжизненной тушкой рухнул на электрообогреватель, стоявший возле дивана. Затем он несколько раз вздрогнул и затих. В воздухе отчетливо запахло паленой шерстью.

Как раз в этот момент Жеральдина открыла дверь и вошла в дом.

— Что здесь происходит? — мягко и спокойно спросила она, словно не увидев перед собой ни-

чего необычного. — Кто эта девочка?

— Она убила нашего кота! — тут же сообщил Джуниор. — Посмотри! — И он ткнул пальцем в сторону обогревателя, на котором все еще лежал кот; голубые кошачьи глаза были закрыты, и черная мордочка казалась пустой и беспомощной.

Жеральдина подошла к обогревателю и взяла кота на руки. Тот казался совершенно мертвым, но она ласково потерлась лицом о его шерсть и уставилась на Пиколу. Она сразу заметила и ее рваное грязное платье, и нелепые косички, торчащие в разные стороны; а там, где тугих косичек не было, густые волосы девчонки были похожи на отвратительный свалявшийся комок шерсти. И башмаки на ней были грязные, а к изношенной подошве еще и комок жвачки прилип. Один носок сполз в туфлю под пятку, а оторванный подол платья был пришпилен булавкой. Нежно касаясь подбородком собравшейся горбиком спинки кота, она смотрела на эту чернокожую девочку, и ей казалось, что она всю свою жизнь повсюду встречала именно ее. Во всяком случае, точно такие же чернокожие девчонки вывешивались наружу из окон тех квартир, что в Мобиле обычно размещались над пивными; такие же девчонки стайкой собирались на крыльце ка-

кого-нибудь густонаселенного дома на окраине города; такие же девчонки сидели на автобусной станции, прижимая к себе жалкий бумажный пакет и со слезами пытаясь что-то объяснить матери, сидевшей рядом, но та лишь бросала в ответ: «Да заткнись ты!». Ну да, все те же нечесаные волосы, те же лохмотья вместо одежды, те же развязанные шнурки и заляпанные грязью башмаки… И вечно эти чернокожие девчонки смотрели на нее, Жеральдину, огромными непонимающими глазами, и глаза их вроде бы ни о чем ее не спрашивали и все же просили обо всем на свете. Они смотрели на нее, не мигая и без малейшего смущения. И в их глазах был конец света, и его начало, и вся та пустота, что отделяет начало от конца.

Эти чернокожие девчонки прямо-таки кишели повсюду. Они спали вшестером в одной постели и по ночам писались на одни и те же простыни, пребывая в сладких грезах о леденцах и картофельных чипсах. А летом долгими жаркими днями слонялись вокруг дома, отковыривая от стен штукатурку или копая палочками землю. Они сидели рядком на бордюрном камне или собирались в стайки у церкви, отнимая законное пространство у милых и опрятных цветных

детей. Они кривлялись на игровых площадках, ломали вещи в дешевых магазинах, бежали перед тобой по тротуару, мешая идти, а зимой раскатывали прямо на тротуарах скользкие ледяные дорожки. Эти девочки вырастали, понятия не имея о поясе для резинок, не говоря уж о гигиеническом поясе, а мальчики объявляли всему свету о том, что стали мужчинами, просто надевая кепку козырьком назад. Казалось, там, где они живут, и трава не растет, и цветы сохнут, и все окутано мраком. Казалось, там, где они живут, вместо цветов расцветают жестянки и старые автомобильные покрышки. Казалось, они питаются исключительно холодным консервированным горошком и апельсиновой шипучкой. Казалось, они размножаются, как мухи, и, как мухи, селятся тесно, образовывая плотные скопления. Вот и эта залетела к ней в дом, намереваясь там поселиться. Тоже как муха. Жеральдина снова посмотрела на девчонку поверх сгорбленной кошачьей спинки и спокойно сказала:

— Немедленно убирайся вон. Пошла вон из моего дома, маленькая мерзкая черная сучка.

По телу кота вдруг прошла дрожь, и он дернул хвостом.

А Пикола, пятясь, стала продвигаться к двери,

не сводя глаз с этой хорошенькой светлокожей цветной женщины, которая живет в таком красивом, зеленом с золотом доме, но разговаривает с ней, Пиколой, как бы сквозь шерсть своего кота, и каждое слово, вылетая из ее рта, заставляет шерсть кота шевелиться. Пиколе все же пришлось повернуться, потому что спиной она никак не могла отыскать входную дверь, и тут она снова увидела Иисуса, глядевшего на нее со стены печальными и ничему не удивляющимися глазами; его длинные каштановые волосы были разделены посередине пробором, а вокруг лица вились веселенькие бумажные цветочки.

Когда Пикола оказалась на улице, холодный мартовский ветер дунул прямо в ту прореху на платье, что возникла в результате схватки с Джуниором. Девочка пригнула голову, сопротивляясь напору встречного ветра, но все же опустила ее не настолько низко, чтобы не заметить, как на тротуар падают и умирают крупные хлопья снега.

Весна

Первые зеленые побеги всегда очень тонкие и гибкие. Сгибаются чуть ли не до земли, а ломаться и не думают. Их нежный, чуть показной оптимизм, прямо-таки бьющий из зарослей форсиции и сирени, для нас означал всего лишь перемену в орудии наказания. Весной нас пороли по-другому. Вместо «зимней» порки ремнем, после которой еще некоторое время чувствовалась тупая ноющая боль, для «весенней» порки родители использовали молодые зеленые побеги. Жалящий эффект такой порки сохранялся надолго. Длинные тонкие прутья словно обладали особой нервной зловредностью, и мы даже с некоторой тоской вспоминали спокойные ровные удары ремнем или жесткие, но честные — щеткой для волос. До сих пор весна для меня связана с жалящей болью после порки молодыми прутьями, так что даже форсиция меня почти не радует.

Весенним субботним днем я, лежа в траве на пустыре, тупо расщепляла стебельки одуванчика и размышляла о муравьях, ямах, куда сажают преступников, о смерти вообще и о том, куда

исчезает мир, если закроешь глаза. Я, должно быть, пролежала в траве довольно долго, потому что моя длинная тень, которую я видела перед собой, выходя из дома, успела уже куда-то исчезнуть, когда я вернулась. Мне сразу показалось, что весь дом полон какой-то неспокойной тишины. Но вскоре я услышала голос матери — она напевала что-то про поезда и Арканзас, войдя со двора через заднюю дверь и проследовав на кухню с грудой выстиранных желтых занавесок. Она стала складывать занавески на кухонном столе, а я тихонько устроилась рядышком на полу — мне хотелось узнать, о чем говорится в этой песне, — и только тут заметила, что мать ведет себя несколько странно. Она почему-то до сих пор не сняла шляпку, и туфли у нее были в пыли, словно она долго ходила по грязным улицам. Мать поставила чайник, потом подмела крыльцо; потом вытащила ту штуковину, с помощью которой обычно разглаживала выстиранные занавески, но вместо того, чтобы накрутить на валек еще влажное полотнище, зачем-то опять принялась мести крыльцо. И все время пела про поезда и про Арканзас.

Когда мать, наконец, допела песню, я пошла искать Фриду и нашла ее наверху — сестра лежала

на кровати и плакала так устало и жалобно, что я сразу поняла: раньше она наверняка рыдала громко и отчаянно, а сейчас, уже пережив первый взрыв неведомого мне горя, только всхлипывала, вздрагивая всем телом. Я тоже прилегла рядом с ней на кровать и некоторое время изучала рисунок на ее платье: крошечные букетики диких роз. К сожалению, от многочисленных стирок краски поблекли, а очертания цветов стерлись.

— Что случилось, Фрида?

Она с трудом оторвала от сгиба руки совершенно распухшее лицо и села, все еще вздрагивая от рыданий, свесив с постели тощие ноги. Я на коленях подползла к ней и подолом своего платья вытерла ей нос. Фрида всегда терпеть не могла, когда кто-то вытирает нос рукавом или подолом платья, но на сей раз она мне это позволила. Между прочим, именно так делала и мама, вытирая нам носы своим фартуком.

— Тебя что, мама выпорола?

Фрида молча помотала головой.

— Тогда почему ты плачешь?

— Потому.

— Потому — что?

— Мистер Генри.

— И что он сделал?

— Папа его избил.

— За что? За Линию Мажино? Он что, узнал про Линию Мажино?

— Нет.

— Ну а что тогда? Ну же, Фрида! И как это я ничего не знаю?

— Он… приставал ко мне.

— Приставал к тебе? Ты хочешь сказать, как Мыльная Голова?

— Примерно.

— Он что, свои причиндалы тебе показывал?

— Не-е-ет. Он меня трогал.

— Где?

— Здесь и здесь. — Она показала на свои крохотные грудки, которые, точно два упавших за пазуху желудя, проступали под поблекшими розочками на ее платье.

— Правда? И что ты почувствовала?

— Ой, Клодия! — Она, похоже, то ли разозлилась, то ли ей противно было об этом вспоминать, да и я, видимо, задавала какие-то неправильные вопросы. — Это ни на что не похоже.

— Но ведь, наверное, так и должно быть? — Я очень старалась быть умной. — Ну, то есть, должно доставлять удовольствие… — Фрида сокрушенно цыкнула зубом. — И что же, он просто

подошел и тебя ущипнул?

Фрида только вздохнула. Некоторое время она молчала, потом все-таки заговорила:

— Ну, сперва он стал говорить, какая я хорошенькая, а потом схватил меня за руку и стал повсюду трогать…

— А где мама с папой были?

— В огороде. Что-то пропалывали, а может, сеяли.

— А что ты ему сказала, когда он начал так делать?

— Ничего. Я просто выбежала из кухни и пошла в огород.

— Мама говорила, чтобы мы никогда одни через железную дорогу не переходили!

— Ну а что бы ты сделала на моем месте? Осталась бы с ним и позволила себя щипать, да?

Я внимательно осмотрела собственную грудь:

— У меня и щипать-то нечего. Там, наверно, никогда ничего и не вырастет!

— Ох, Клодия! Вечно ты всем завидуешь! Ты что, хочешь, чтобы он и к тебе приставать начал?

— Ничего я не хочу! Просто мне надоело, что я всегда все получаю в последнюю очередь.

— А вот и нет! Как насчет скарлатины? Ты же первая ее подцепила!

— Да, только она быстро прошла. Ну а дальше что было, когда ты в огород прибежала?

— Я рассказала маме, а она — папе, и мы сразу пошли домой, только его уже не было, и мы довольно долго его ждали, а когда папа увидел, как мистер Генри поднимается на крыльцо, то швырнул в него нашим старым трехколесным велосипедом и попал ему прямо в голову, и он свалился с крыльца…

— И умер?

— Да ничего подобного! Встал да как запоет: «Все ближе, Господь мой, к Тебе». И тогда мама стукнула его шваброй и велела ему не пачкать имя Господа своим грязным языком, но он все не умолкал, и папа начал ругаться, и поднялся такой гвалт…

— Ах ты, господи! И вечно я все самое интересное пропускаю!

— И мистер Бафорд выбежал из дома с ружьем, а мама ему сказала, чтобы он лучше пошел куда-нибудь и посидел там тихонько, а папа сказал: «Нет, лучше давай-ка сюда свое ружье!», и мистер Бафорд отдал ему ружье, а мама как закричит, и только тогда мистер Генри наконец заткнулся и бросился бежать, но папа все равно в него выстрелил, и тогда мистер Генри скинул с ног башмаки

да как припустил дальше в одних носках… В общем, потом приперлась Розмари и заявила, что теперь нашего папу посадят в тюрьму, и я ее ударила.

— По-настоящему?

— По-настоящему.

— И поэтому мама тебя выпорола?

— Я же тебе сказала: она меня не порола.

— Тогда почему же ты плачешь?

— Когда все уже успокоились, к нам зашла мисс Даньон, а мама с папой все продолжали ругаться и выяснять, кто из них впустил к нам в дом мистера Генри, и мисс Даньон сказала маме, что меня надо отвести к врачу, потому что у меня там может быть все нарушено, и мама снова принялась вопить…

— На тебя?

— Нет. На мисс Даньон.

— Но ты-то почему плакала?

— Я не хочу, чтобы у меня там все было нарушено.

— Что нарушено?

— Сама знаешь. Как у Линии Мажино. У нее там все нарушено. Так мама говорит.

Из глаз Фриды снова потекли слезы. А я представила себе Фриду такой же большой и толстой,

как Линия Мажино. Ее тощие ножки как бы сами собой распухли, а на лице появились жирные складки воспаленной кожи. У меня даже в носу защипало от жалости к ней, и я сказала:

— Но, Фрида, ты же можешь делать всякие упражнения и почти ничего не есть. — Она только плечами пожала. — А посмотри на Чайну и Поланд. Они ведь тоже нарушенные, ты же знаешь. Но совсем и не толстые!

— Это потому, что они виски пьют. Мама говорит, что виски их сжирает.

— Ты тоже могла бы пить виски.

— Где это я виски-то возьму?

Мы задумались. Нам точно его никто не продаст; впрочем, денег-то у нас все равно нет. А дома у нас виски сроду не водилось. И где же его взять?

— У Пиколы! — вдруг осенило меня. — Ее отец все время пьяный. Так, может, она и нам сумеет немного виски достать?

— Ты думаешь?

— Ну да! Только Чолли всегда пьяным можно увидеть. А давай у нее спросим? Мы же не обязаны ей рассказывать, для чего нам виски.

— Прямо сейчас?

— Конечно! Чего откладывать.

— А маме мы что скажем?

— Ничего. Просто потихоньку выберемся через дальнюю калитку. По очереди. Чтобы она не заметила.

— Ладно. Тогда ты иди первая, Клодия.

Выйдя из дома через заднюю дверь, мы сумели незаметно добраться до калитки в дальнем конце двора и открыть ее. А потом бегом бросились по переулку.

Пикола жила на противоположном конце Бродвея. Раньше мы никогда к ней домой не ходили, но знали, что живет она в таком сером двухэтажном доме, где внизу раньше был склад, а наверху обычная квартира.

Мы постучались, но на наш стук никто не ответил, и мы двинулись в обход. Подойдя к боковой двери дома, мы услышали, что где-то наверху включено радио и играет музыка, и, подняв глаза, обнаружили у себя над головой, на втором этаже, веранду или балкон со стенками из кривых подгнивших дощечек. И там восседала сама Линия Мажино. Мы только глянули на нее и невольно схватились за руки. Это была целая гора плоти! Она скорее лежала, чем сидела, заполняя собой кресло-качалку. Туфель на ней не было, и обе босые ступни она просунула между планками

перил: пальчики у нее были крошечные, как у младенца, а на распухших лодыжках кожа натянута так, что выглядела неестественно гладкой. Ее массивные ножищи, похожие на стволы деревьев, были широко раздвинуты в коленях, и над коленями дряблыми складками нависала внутренняя часть ляжек невероятной толщины, которые смыкались где-то глубоко в тени платья. В ее пухлой, покрытой ямочками руке торчала темно-коричневая бутылка дешевого пива, похожая на чью-то обгоревшую конечность. Линия Мажино посмотрела на нас сквозь перила и негромко задумчиво рыгнула. Но глаза у нее оказались чистыми и прозрачными, как дождевая вода, и я снова вспомнила водопады, которые видела в кино. Ни я, ни Фрида не решались произнести ни слова. Мы обе были уже почти уверены, что видим перед собой недалекое будущее Фриды. Линия Мажино улыбнулась и спросила:

— Вы кого-то ищете?

Мне пришлось первой вытаскивать язык из-за надежно сжатых губ.

— Пиколу. Она ведь здесь живет?

— Угу. Только сейчас ее дома нет. Она к матери на работу пошла, чтобы выстиранное барахло забрать.

— Ага. А скажите, мэм, она скоро вернется?

— Ну, наверное. Ей ведь еще белье на просушку развесить надо, пока солнце не село.

— А…

— Но вы можете ее подождать. Если хотите, поднимайтесь сюда и подождите.

Мы переглянулись. И я снова, подняв глаза, увидела перед собой две невероятно жирные коричневые ляжки, смыкавшиеся где-то в тени короткого платья. Ответила ей Фрида:

— Нет, мэм, спасибо, мы пойдем.

— Ну, в таком случае, — похоже, Линию Мажино наша проблема заинтересовала, — вы можете к ее матери на работу сходить. Но это довольно далеко, на берегу озера.

— А в каком месте на берегу?

— Знаете, такой большой белый дом, возле которого большая тачка, полная цветов? — Этот дом мы хорошо знали и часто любовались укрепленной возле него большой белой тачкой, в которой всегда в зависимости от времени года цвели разные цветы. — Только, по-моему, туда слишком далеко пешком-то идти? — Фрида промолчала и почесала коленку. А Линия Мажино снова предложила: — Почему бы вам просто не подождать Пиколу здесь? Вы можете подняться

ко мне. Хотите шипучки?

И в ее ясных, словно промытых дождем, глазах вспыхнули веселые искорки, да и улыбалась она искренне, во весь рот, а не так, как обычно улыбаются взрослые — сжатыми губами и словно сдерживая улыбку.

Я уже двинулась было к лестнице, но Фрида решительно заявила:

— Нет, мэм, нам не разрешают!

Меня поразила ее смелость, а столь невежливый, почти грубый ответ, пожалуй, испугал. Да и Линия Мажино улыбаться перестала.

— Не разрешают?

— Нет.

— Чего не разрешают-то?

— Заходить к вам в дом.

— Неужто правда? — Водопады в ее глазах мгновенно застыли, превратившись в лед. — С чего бы это?

— Моя мама так сказала. Она говорит, что вы нарушенная.

Водопады вновь ожили. Линия Мажино поднесла к губам бутылку и в несколько глотков опустошила ее. А потом изящным движением кисти — таким быстрым и легким, что мы его толком и не заметили, только потом о нем вспом-

нили, — швырнула в нас через перила пустой бутылкой, которая раскололась прямо у наших ног, мы даже отскочить не успели. Наши туфли оказались усыпаны осколками коричневого стекла. А Линия Мажино, сложив толстые руки на объемном складчатом животе, разразилась смехом. Сперва это, правда, больше напоминало утробное мычание, но потом превратилось в настоящий смех, громкий и искренний. Это было одновременно и прекрасно, и пугающе. Голова ее сама собой склонилась к плечу, глаза закрылись, и все ее массивное тело тряслось от смеха, который, как мне казалось, разливался вокруг нас волнами красного цвета. Обрывки и завитки этого смеха преследовали нас все время, пока мы улепетывали подальше. В конце концов у нас одновременно кончились и силы и дыхание, и мы дружно остановились возле какого-то дерева, привалившись к нему и прислонив потные лбы к согнутым рукам. Когда мы немного отдышались, я предложила:

— Давай лучше домой пойдем.

Но Фрида была по-прежнему охвачена гневом схватки, которую, как ей казалось, она вела за спасение собственной жизни.

— Нет уж! Нам надо раздобыть это прямо сей-

час.

— Но как же мы потащимся в такую даль? Нам ведь нельзя ходить на озеро.

— Да, нельзя, ну и что? Идем.

— А если мама нас искать станет?

— Не станет. И потом, что она нам такого сделает-то? Ну разве что выпорет.

Это была чистая правда. Мама никогда не стала бы нас убивать, не стала бы смеяться над нами таким ужасным смехом, не стала бы швыряться в нас бутылками из-под пива.

И мы двинулись в путь по обсаженным деревьями улицам, где светло-серые дома чуть наклонились вперед, точно пожилые усталые дамы. Затем вид улиц изменился: дома здесь выглядели более прочными, и краска на них была новее, и столбики веранд стояли прямо, да и дворы казались просторней. Но вскоре пошли кирпичные дома, построенные специально подальше от улицы, и перед ними были красивые лужайки, а вокруг лужаек росли кусты, аккуратно подстриженные и превращенные в зеленые конусы или шары.

Однако самые красивые дома стояли, конечно, на берегу озера. Садовая мебель, всякие симпатичные штучки, сверкающие окна, глядевшие

на нас, как стекла очков — и никаких признаков жизни. За домами зеленые дворы спускались прямо на берег озера, к узкому песчаному пляжу и голубым водам огромного озера Эри, которое простиралось аж до самой Канады. В этой части города в небе никогда не были видны оранжевые сполохи, порожденные выбросами сталелитейной фабрики. Здесь небо всегда сияло голубизной.

Мы уже добрались до Озерного парка; это был городской парк с розами, фонтанами, зелеными площадками для боулинга и столами для пикника. Сейчас парк был пуст, но ласково ожидал появления чистеньких и хорошо воспитанных белых детей и их родителей, которые сперва будут играть вместе над озером, а потом кто бегом, а кто и кувырком помчатся навстречу гостеприимным озерным волнам. Чернокожим в парк заходить не разрешалось, так что нам с Фридой оставалось о нем только мечтать.

Как раз перед входом в парк и находился тот большой белый дом с тачкой, полной цветов. Короткие стебельки и острые листья крокусов прикрывали пурпурные и белые звездочки цветов, которым так хотелось стать первыми, что они готовы были терпеть даже холод и дожди

ранней весны. Дорожка к дому была оформлена с некоторой умышленной небрежностью, за которой скрывались хитроумная симметрия и мастерство садовника. Медлить и что-либо рассматривать мы не стали из страха быть обнаруженными и отчетливого понимания того, что мы к этому миру ни малейшего отношения не имеем. Мы быстро обошли этот гордый дом кругом и отправились на задний двор.

И там сразу увидели Пиколу в светло-красном свитере и синем хлопчатобумажном платье. Она сидела на маленьком крылечке с перилами, а рядом с ней стояла небольшая тележка. Пикола, похоже, обрадовалась, увидев нас, и даже заулыбалась.

— Привет, Пикола.

— Привет. А вы-то что здесь делаете? — Улыбку на лице Пиколы можно было увидеть крайне редко; я даже слегка удивилась, до чего это оказалось приятно.

— Тебя ищем.

— А кто вам сказал, что я здесь?

— Линия Мажино.

— А это еще кто?

— Большая толстая тетка. Она над вами живет.

— А, мисс Мари! На самом деле ее мисс Мари

зовут.

— Ну а у нас ее все зовут мисс Линия Мажино. А ты ее не боишься?

— Кого?

— Да этой Линии Мажино.

Пикола искренне удивилась:

— С чего это мне ее бояться?

— И твоя мама разрешает тебе к ней ходить? И есть из ее тарелок?

— Она и не знает, что я к ней хожу. А вообще мисс Мари очень хорошая. И все они тоже.

— Да ну? А нас она только что убить пыталась, — сообщила я.

— Кто? Мисс Мари? Да она никого и пальцем не тронет!

— Тогда почему же твоя мама не разрешает тебе к ней ходить? Раз уж она такая хорошая и добрая?

— Не знаю. Мама тоже говорит, что мисс Мари плохая. Только они совсем не плохие! И все время всякие вещи мне дарят.

— Какие еще вещи?

— Ой, ну всякие! Симпатичные платьица, туфельки… Да у меня столько разных туфель, что мне их и не сносить! А еще украшения дарят, и всякие сласти, и деньги. И в кино меня водят, а

однажды мы даже на карнавал ездили. Чайна захотела взять меня с собой в Кливленд, чтобы я на тамошнюю площадь посмотрела, а Поланд брала меня в Чикаго, чтобы мне Петлю[14] показать. Мы с ними повсюду вместе ходим и ездим.

— Врешь ты все! И никаких симпатичных платьиц у тебя нет!

— А вот и есть!

— Ой да ладно тебе, Пикола! Нам-то ты зачем лапшу на уши вешаешь? — рассердилась Фрида.

— Никакой лапши я не вешаю!

Пикола даже вскочила, готовясь защищать свои позиции, но тут дверь дома притворилась и оттуда появилась голова миссис Бридлав.

— Что тут происходит? — спросила миссис Бридлав. — Пикола, кто эти дети?

— Это Фрида и Клодия, миссис Бридлав, — ответила матери Пикола.

— Девочки, вы чьи?

Миссис Бридлав вышла на крыльцо. Я никогда раньше не видела, чтобы она так хорошо выглядела: в аккуратной белой униформе и с красивой прической типа «помпадур» — волосы высоко подняты надо лбом и уложены валиком.

---

[14] Примечания: 14
Loop («петля») — главный деловой район Чикаго.

— Мы дочери миссис Мактир, мэм.

— Ах да! Вы ведь на Двадцать первой улице живете?

— Да, мэм.

— Что же вы делаете здесь, так далеко от дома?

— Просто гуляем. Мы хотели с Пиколой повидаться.

— Ну, вы бы лучше домой возвращались. Впрочем, можете и вместе с Пиколой пойти. Зайдите-ка на минутку в дом, а я пока белье приготовлю.

И мы прошли на кухню. Кухня была просторная и очень красивая. Черная кожа миссис Бридлав матово поблескивала, как тафта, и в ней, казалось, отражается вся эта красота: белая фарфоровая посуда, белые деревянные поверхности полированных столов и шкафчиков, сверкающие медные кастрюли и сковородки. Чудесные ароматы мяса, овощей и свежей выпечки смешивались с противным запахом таблеток от моли.

— Так. Вы стойте где стоите и ничего не трогайте. А я сейчас белье принесу. — Миссис Бридлав исчезла за белой вращающейся дверью, и мы услышали ее неровные, как бы пришлепывающие шаги: она стала спускаться по лестнице в подвал.

Тут вдруг открылась еще одна дверь, и на кухне

появилась маленькая девочка, гораздо младше нас. На ней был розовый летний сарафанчик и розовые пушистые домашние тапочки, украшенные торчавшими вверх кроличьими ушами. Ее светлые, как пшеница, волосы были перехвачены широкой лентой. Увидев нас, девочка явно испугалась и, с беспокойством оглядев всю кухню, спросила:

— А где же Полли?

Во мне тут же вскипела знакомая ненависть. Да как она смеет называть миссис Бридлав «Полли»! Ведь даже Пикола всегда уважительно называет свою мать «миссис Бридлав». Уже одного этого, по-моему, было достаточно, чтобы исцарапать этой козявке физиономию.

— Она внизу, — сказала я, и девчушка тут же крикнула: «Полли!»

— Посмотри, — шепнула мне Фрида, — нет, ты только посмотри!

На кухонной стойке рядом с плитой на серебристом противне остывал пышный ягодный пирог. Сквозь румяную корочку все еще кое-где просачивался пурпурный сок. Мы подошли чуть ближе.

— Еще совсем горячий, — сказала Фрида, а Пикола даже слегка дотронулась до противня, словно проверяя, действительно ли это так.

— Полли, иди сюда! — снова закричала девочка.

Возможно, у Пиколы на нервной почве просто дрогнула рука или же она совершила еще какое-то неловкое движение, но противень от прикосновения ее пальцев вдруг поехал по столу, грохнулся на пол, и пирог развалился на куски. Темные сочные ягоды разлетелись во все стороны, а бóльшая часть горячего сока выплеснулась на ноги Пиколе. Наверно, ее здорово ошпарило, потому что она громко вскрикнула и от боли стала прыгать по всей кухне; именно в это мгновение в кухню снова вошла миссис Бридлав с плотно уложенной бельевой корзиной. В один миг она оказалась рядом и так ударила Пиколу по голове тыльной стороной ладони, что та рухнула на пол. Падая, Пикола еще и поскользнулась на сочной начинке бывшего пирога и неловко подвернула ногу, но миссис Бридлав это ничуть не встревожило. Схватив дочь за руку, она одним рывком вернула ее в вертикальное положение, отвесила ей еще одну оплеуху, а потом тонким от гнева голосом принялась ругать и Пиколу, и нас с Фридой заодно.

— Идиотка безмозглая… весь пол мне загадила! Боже, какой ужас… посмотри, что ты натворила…

у меня еще работы полно… убирайся отсюда, придурочная… а пол-то!.. Я ж его только что вымыла, а вы его снова весь изгваздали!..

Ее гнев был куда горячей и темней, чем исходившие паром горячие ягоды, и мы в ужасе попятились.

Тут вдруг девчонка в розовом сарафане решила расплакаться, и миссис Бридлав моментально умолкла и повернулась к ней.

— Ш-ш-ш, детка, тихо, тихо. Иди-ка сюда. О господи! Вы только посмотрите, в каком виде у нее платьице! Ну, ничего, не плачь. Полли сейчас тебя переоденет. — Она подошла к раковине, включила воду, намочила чистое кухонное полотенце и стала вытирать девочку. Одновременно она не забывала через плечо плеваться в нас злобными словами, точно кусками гнилого яблока: — Быстро забирайте корзину с бельем и вон отсюда! Немедленно вон! Теперь мне все снова мыть и в порядок приводить придется!

Пикола подхватила тяжеленную корзину, полную мокрого белья, и мы торопливо отступили к двери. И пока Пикола пристраивала корзину на тележку, из окон кухни до нас все время доносилось воркование миссис Бридлав, пытавшейся успокоить ревущую светловолосую девочку в

розовом сарафане.

— Кто они, Полли?

— Да никто! Ты о них даже не думай, деточка.

— Буду, буду думать! Говори, Полли, кто они такие.

— Тихо, деточка, тихо, не надо так волноваться, — ласково приговаривала миссис Бридлав, и мед ее слов сливался с золотистыми красками заката, горевшего над озером.

ВОТЕЕМАТЬОНАОЧЕНЬМИЛАЯМАМАТЫ
ПОМОЛИШЬСЯВМЕСТЕСДЖЕЙНМАТЬ
СМЕЕТСЯСМЕЕТСЯМАТЬСМЕЕТСЯСМЕЕТ…

Проще всего было извлечь какую-нибудь выгоду из искалеченной ноги. Именно так она и поступила. Но для того, чтобы понять, как на самом деле умирают мечты, никогда не следуйте объяснениям мечтателя. Столь чудесное начало, возможно, привело ее к тому, что в одном из ее передних зубов возник кариес. Впрочем, сама она всегда предпочитала во всех своих удачах и неудачах винить исключительно искалеченную ногу.

Хоть она и была девятой из одиннадцати детей, а семья их проживала на одном из жутких холмов цвета красной алабамской глины в семи милях от ближайшего шоссе, лишь полнейшее

равнодушие, с которым в семье отнеслись к тому, что ржавый гвоздь насквозь пронзил девочке ногу на втором году ее жизни, спасло Паулину Уильямс от полного забвения. Когда гнойная рана зажила, девочка осталась с изуродованной, как бы лишенной подъема стопой и была вынуждена не то что прихрамывать, а как бы пришлепывать при ходьбе — во всяком случае, это была не та хромота, в результате которой у нее вскоре развилось бы искривление позвоночника; просто она на каждом шагу приподнимала больную ногу так, словно вытаскивала ее из небольшого болотца, угрожавшего, впрочем, намертво ее засосать. Хоть деформация стопы и оказалась относительно небольшой, она помогла Паулине понять многие из тех вещей, которые в иных обстоятельствах на всю жизнь остались бы недоступными ее пониманию. Почему, например, только у нее одной из всех детей в семье не было прозвища; почему никто не шутил и не высмеивал некоторые ее действительно смешные или нелепые поступки; почему никто никогда ни словом не возразил ни по поводу ее капризов в еде, ни по поводу ее предпочтений — ей без разговоров оставляли любимые крылышко или шейку цыпленка, а горошек для нее готовили

в отдельной кастрюльке без риса, потому что рис она не любила; почему ее никто никогда не дразнил; почему она нигде не чувствовала себя дома, как не чувствовала и того, что какое-то место является ей родным. Она всегда считала себя особенной и никчемной и вину за это возлагала на свою изуродованную стопу. С раннего детства во многих отношениях ограниченная неким кокономсемейной заботы, она культивировала собственные тихие удовольствия и пристрастия. Больше всего ей нравилось наводить порядок, все прибирать, выстраивать по ранжиру — банки на полках в кладовой, персиковые косточки на ступеньках крыльца, палочки, камушки и листики на земле — и в семье к этому относились весьма благосклонно. Если же кто-то случайно нарушал выстроенный ею ряд, то всегда наклонялся и подавал выпавший предмет, и она никогда не сердилась, ибо всякое нарушение порядка давало ей возможность вновь этот порядок должным образом восстановить. Какое бы великое — в пределах допустимости, конечно — множество предметов ни оказывалось в ее распоряжении, она их тут же начинала организовывать, раскладывая и расставляя в соответствии с размером, формой или оттенками цвета. Так, например, у нее никогда

не смогли бы оказаться в одном ряду сосновая игла и листок хлопкового дерева; она ни за что не поставила бы рядом банку с консервированными помидорами и банку с зеленой фасолью. Все четыре года обучения в школе она пребывала во власти чисел, а вот буквы, слова и предложения наводили на нее скуку. К сожалению, краски и цветные карандаши как-то прошли мимо нее — она сама была в этом виновата, но тогда она еще не понимала, сколь важную вещь упускает.

Перед началом Первой мировой войны семейство Уильямс, слушая рассказы возвращавшихся из других мест соседей и родственников, пришло к выводу, что, наверное, надо и им поискать лучшей доли. Постепенно, небольшими передвижками, кооперируясь с другими семьями, они — за шесть месяцев и в результате четырех довольно сложных перемещений — добрались до штата Кентукки, где были шахты и работа.

«Когда все мы на рассвете выходили из дома и до захода солнца ждали на железнодорожной станции прихода поезда, успевали сгуститься сумерки, и мимо начинали пулями пролетать июньские жуки. Иной раз их зеленовато-бронзовые крылышки высвечивали какой-то отдельный листок на дереве, и мне казалось, что я вижу

вспышку таинственного зеленого огня. Я тогда в последний раз видела настоящих июньских жуков. Те, что летают здесь, это не июньские жуки. Это какие-то другие насекомые. Местные жители называют их светлячками. Там, дома, июньские жуки были совсем другие. Но те вспышки зеленого света я хорошо помню. Очень хорошо».

Когда они перебрались в Кентукки, то стали жить в самом настоящем городе — по десять-пятнадцать домов на улице, и в каждом доме вода насосом подавалась прямо на кухню. Ада и Фаулер Уильямс подыскали для своей семьи пятикомнатный щитовой домик. При доме имелся двор, обнесенный изгородью, некогда белой; возле изгороди мать Паулины сажала цветы, а на самом дворе они держали кур. Братья Паулины поступили на службу в армию, одна из сестер умерла, две вышли замуж — и в домике, таким образом, освободилось довольно много места, отчего оставшимся членам семьи жизнь в Кентукки стала казаться почти роскошной. Переезд, кстати, оказался Паулине весьма на руку, ибо она уже достаточно подросла и могла бросить школу. Миссис Уильямс нашла работу — мыть, убирать и готовить для одного белого священника, жившего на противоположном конце города,

и Паулина, теперь старшая девочка в семье, приняла на себя заботу о доме. Она постоянно чинила пресловутую изгородь, вбивая остроконечные колышки так, чтобы они стояли вертикально, и скрепляла их кусками проволоки; собирала куриные яйца; подметала пол и готовила еду; стирала и присматривала за двумя младшими детьми — близнецами Цыпленком и Пирожком, которые еще учились в школе. И, надо сказать, она не только отлично со всем справлялась, но и получала удовольствие. После того как родители уходили на работу, а остальные члены семьи были либо в школе, либо на шахте, в доме воцарялись тишина и покой. Их домик стоял обособленно, и то, что в нем подолгу бывало так тихо, очень нравилось Паулине и придавало ей сил. В общем, она с удовольствием и почти без перерывов занималась уборкой и прочими домашними делами до двух часов дня, когда домой из школы возвращались близнецы.

К окончанию войны близнецам исполнилось по десять лет; они тоже бросили школу и пошли работать. Паулине было тогда пятнадцать, и она по-прежнему занималась домашним хозяйством, но уже с меньшим энтузиазмом. В голове у нее роились фантазии о мужчинах, любви и

всяких волнующих прикосновениях, что весьма отвлекало ее мысли и руки от насущных дел. На нее стали действовать перемены погоды, а также некоторые зрелища и звуки, что проявлялось в приступах сильнейшей меланхолии. Ее начинали преследовать мысли об умерших новорожденных, об испорченных новых вещах, о скитаниях по пустынным дорогам, о незнакомцах, которые появляются ниоткуда и берут тебя за руку, о лесах, где солнце всегда только садится. Причем в церкви эти мысли одолевали ее как-то особенно сильно. А вот песни всегда утешали; когда же она пыталась удержать свою душу и побороть греховные мысли, тело ее дрожало, требуя отпущения грехов, спасения и мистического возрождения, которое произойдет просто так, без каких бы то ни было усилий с ее стороны. Никакой агрессии во время своих фантазий она никогда не испытывала; чаще всего она воображала, что бродит по берегу реки или собирает ягоды, и тут появляется некто с нежным и проникновенным взором. Он без лишних слов сразу все понимает, и от одного лишь его взгляда стопа ее сама собой распрямляется, а глаза невольно опускаются долу. Впрочем, этот некто не имел ни лица, ни конкретной формы, ни голоса, ни запа-

ха. Это была просто некая Сущность, обладавшая всеохватной нежностью, невероятной силой и обещанием покоя. И не имело значения, что сама Паулина не знала, ни что ей нужно делать, ни что говорить — для общения с этой Сущностью слова были не нужны, а после ее благодатного прикосновения все остальные мечты и тревоги Паулины словно растворялись в воздухе. Но сама-то Сущность все прекрасно знала и умела. Так что ей, Паулине, нужно было лишь подойти к прекрасному незнакомцу, положить голову ему на грудь, и он увел бы ее прочь отсюда, к морю, в большой город, в леса… навсегда.

По соседству с семейством Уильямс жила одна женщина, Айви, которая так чудесно пела, что, казалось, могла своим пением выразить все, о чем мечталось Паулине. Стоя чуть в стороне от хора, Айви выпевала ту темную сладость, для которой у самой Паулины даже названия не было; она пела о смерти, отрицающей смерть, к которой Паулина порой так стремилась; она пела о Незнакомце, который все знает и понимает…

Возлюбленный Боже, возьми меня за руку,
Веди меня дальше, позволь лишь
постоять немного,
Ведь я так устала, я так слаба, я совсем

без сил.

Сквозь бури, сквозь ночь веди меня к свету,
Возлюбленный Боже! Возьми меня за руку,
Веди меня дальше, возлюбленный Боже.

И коли путь мой мрачнее станет,
Пусть Ты один меня не оставишь
И доведешь меня до порога…

Когда же я переступлю порог,
Услышь мой зов, всемогущий Бог,

Возьми меня за руку, чтоб я не упала,
Веди меня дальше, как было вначале.

* * *

Так оно и случилось. Этот Незнакомец, этот некто действительно появился как бы ниоткуда. Паулина была исполнена благодарности, но не удивлена.

Он пришел, неторопливо с достоинством ступая по залитой жарким летним солнцем улице городка в штате Кентукки. И был он большой и сильный, и желтые глаза его светились, ноздри раздувались, и вокруг него витала музыка.

Паулина бездельничала. Она стояла у ограды, опершись руками о перекладину и лениво

поглядывая на улицу. Она только что замесила тесто для сладкого пирога и теперь выковыривала из-под ногтей остатки муки. Вдруг где-то за ее спиной раздался свист. Это была одна из тех быстрых ритмичных песенок, которые чернокожие ребята обычно насвистывают, подметая улицы, или копая землю, или просто проходя мимо хорошенькой девушки. Обычная мелодия городских улиц, в которой под смехом скрывается тревога, а радость столь же остра и коротка, как лезвие карманного ножа. Паулина внимательно слушала, у нее даже губы чуть шевельнулись в улыбке. Свист стал громче, но она все не оборачивалась — ей хотелось, чтобы мелодия продолжала звучать, — и уже с трудом сдерживала улыбку, хотя и готова была вскоре опять погрузиться в привычные мрачноватые мысли, но вдруг почувствовала, как что-то щекочет ей ступню. Она рассмеялась и обернулась. Оказалось, «свистун» подошел к ней совсем близко и, наклонившись, щекотал ее, одновременно покрывая поцелуями всю ногу до колена. А она никак не могла унять смех и смеялась до тех пор, пока он не поднял голову и не посмотрел на нее. И она увидела прямо перед собой желтые, с тяжелыми веками, глаза Чолли Бридлава, из которых прямо-таки

сочилось жаркое солнце Кентукки.

«Видишь ли, когда я впервые увидела Чолли, у меня в душе словно вспыхнула сложенная из разноцветных стеклышек картинка того времени, когда я еще дома жила. Однажды, помнится, после каких-то похорон мы, дети, пошли собирать ягоды, я складывала их в карман своего воскресного платья, и они, конечно же, все раздавились и перепачкали мне не только платье, но и ляжки. Потом эти фиолетовые пятна так и не отстирались. Ни с платья, ни с моей души. Я их пурпурный цвет всегда чувствовала. Как и цвет лимонада, который мама обычно готовила к возвращению отца с поля. Лимонад был холодный, светло-желтый, а с донышка кувшина то и дело всплывали зерна лимонов. А еще я всегда помнила вспышки зеленого света, которые возникали, когда июньские жуки касались листьев деревьев, — это было в ту ночь, когда мы уезжали из родного дома. Эти цвета всегда жили во мне. Они прямо-таки поселились в моей душе. И когда Чолли подошел и стал щекотать мне ногу, это было, как сок тех ягод, как тот лимонад, как те зеленые вспышки света от крыльев июньских жуков — все те ощущения разом на меня обрушились. А Чолли тогда был худющий, и глаза у

него были такие веселые. Он любил что-нибудь насвистывать, и стоило мне этот свист услыхать, как меня дрожь пробирала».

Паулина и Чолли любили друг друга. Ему, похоже, очень нравилось и ее общество, и даже ее деревенские манеры, а также то, что она так мало знала о жизни больших городов. Он расспросил, что случилось с ее ступней, а когда они гуляли по улицам города или по полям, всегда интересовался, не устала ли она. Вместо того чтобы, как все остальные, игнорировать ее физический недостаток или притворяться, что она совершенно здорова, Чолли вел себя так, словно ее деформированная ножка — это самое для него дорогое. И Паулина впервые в жизни почувствовала, что ее небольшое уродство способно превратиться в достоинство.

Прикосновения Чолли тоже оказались именно такими, как ей мечталось: решительными и нежными. И тут же исчезали мрачные мысли о прогулках в полном одиночестве по пустынному берегу реки, освещенному красноватыми лучами заката. С Чолли Паулина чувствовала себя защищенной от всего на свете и была ему очень за это благодарна. Он оказался очень добрым, живым и веселым; она и не подозревала, что в ее жизни

может быть столько смеха.

Они решили пожениться и поехать куда-нибудь на север — там, по словам Чолли, на сталелитейных заводах всегда требовались рабочие. Молодые, влюбленные, полные сил, они приехали в Лорейн, штат Огайо, и Чолли действительно почти сразу нашел работу на сталелитейном предприятии, а Паулина занялась домашним хозяйством.

А потом она потеряла свой первый передний зуб. Нет, там наверняка уже был кариес, маленькое коричневое пятнышко, которое легко было принять за застрявшую пищу. Только это пятнышко никак не удалялось с зубной эмали и за нескольких месяцев разрослось и проросло глубоко в ткань зуба, а потом и съело его почти до самого корня, удивительным образом не тронув нерв, потому-то кариес и оставался незамеченным и не причинял Паулине ни малейшего беспокойства. Затем ослабевшие корни, привыкшие к воздействию ядовитых бактерий, все же не выдержали, и однажды от обычного усилия зуб сломался, оставив зазубренный пенек. Впрочем, для появления на зубе маленького коричневого пятнышка наверняка должны были возникнуть соответствующие условия и обстоятельства.

С другой стороны, что могло пойти не так в их семье, поселившейся в молодом растущем городе штата Огайо, где даже переулки вымощены бетонными плитами? Город располагался на берегу спокойного голубого озера и хвастался своей близостью с Оберлином, станцией подземки, находившейся от него всего в тринадцати милях, которую называли «зловонной лихорадкой» на губе Америки, повернувшейся лицом к холодной, но гостеприимной Канаде.

«Мы тогда с Чолли хорошо ладили. Решили, что на севере с работой получше будет, и поехали туда. Поселились в двух комнатках над мебельным магазином. Я по дому хлопотала, а Чолли на сталелитейном вкалывал, и все вроде бы у нас было хорошо. Я так и не могу понять, что случилось. Только все вдруг по-другому стало. И еще — очень я по прежним соседям скучала, да и говорили здешние как-то иначе, иной раз и не поймешь их толком. И уж больно много белых было вокруг, не привыкла я к такому. Те белые, с которыми мне раньше доводилось иметь дело, нас, черных, ненавидели, но и к нам не лезли. Я что хочу сказать: никаких отношений у нас с белыми не было. Так, сталкивались время от времени — в поле, например, или на продоволь-

ственном складе. Только им ведь всегда во всем главенствовать хотелось. А тут, на севере они повсюду рядом с нами оказывались — и в соседях у нас, и в магазине, и на улице. Цветные-то здесь редко попадались, да они и оказались совсем другими, чем у нас, на Юге. Задаваки. Или снобы, если по-книжному. Ничуть не лучше белых, даже еще противней. Именно они больше всех старались, чтобы каждый чернокожий себя куском дерьма чувствовал. Никак я такого от цветных не ожидала. В общем, тот кусок времени был, пожалуй, самым одиноким в моей жизни. Помнится, я все глядела в передние окошки да ждала, когда Чолли домой вернется. Он в три часа приходил. Даже кошки у меня тогда не было, чтоб хоть с какой живой душой поговорить».

Чувствуя себя одинокой, Паулина обратилась за поддержкой к мужу — ей хотелось хоть каких-то развлечений, чего-то такого, чем можно было бы заполнить мучительную пустоту дней. Работы по дому ей было недостаточно, да там и дома-то не было — всего две комнатки, не было даже двора, который требовалось содержать в порядке, по которому она могла бы иногда просто походить. Многие женщины в городе носили туфли на высоких каблуках, и Паулина тоже попробовала, но

ее пришлепывающая походка сразу сменилась откровенной хромотой. Чолли по-прежнему был с ней исключительно добр, но уже немного тяготился ее полной зависимостью от него. Им все реже хотелось что-то рассказать друг другу. У общительного Чолли не было проблем ни с новыми приятелями, ни с разнообразными развлечениями — чуть ли не каждый день к ним на крыльцо поднимался очередной незнакомый мужчина и спрашивал Чолли. И Чолли всегда с удовольствием с ним болтал о чем-нибудь, а потом они вместе уходили, и Паулина вновь оставалась одна. Она завела себе несколько знакомых среди местных чернокожих женщин, но чувствовала себя в их компании неуютно. Они откровенно смеялись над ней, потому что она никак не хотела распрямлять волосы. А когда попыталась с помощью косметики «сделать себе лицо», как у них, то из этого и вовсе ничего хорошего не вышло. Их жалящие взгляды и тайные усмешки из-за ее южного выговора — вечно она глотала согласные — и манеры одеваться вызвали у нее желание полностью сменить гардероб, но тут уже Чолли начал откровенно с ней ссориться. На новые тряпки уходило слишком много денег. И Паулина решила пойти работать. Работа поденщицей

какие-то деньги, конечно, приносила, и этого хватало на некоторые обновки, однако отношения с Чолли все больше портились. Его раздражали ее бесконечные покупки, и он довольно бурно выражал свое недовольство. Ссоры буквально рвали в клочья их брак, еще недавно такой счастливый. Паулина, конечно, была еще совсем девчонкой и по-прежнему верила, что существует то бескрайнее плато счастья, по которому ее за руку поведет сам Господь, и Он всегда окажется рядом, если на пути встретится нечто ужасное. Только теперь она куда более ясно себе представляла, что значит «нечто ужасное». Теперь в их семье главным предметом обсуждений и споров стали деньги; Паулине требовались деньги на новые наряды, а Чолли — на выпивку. Печальнее всего было то, что на самом деле Паулина вовсе не была помешана на шмотках и косметике. Ей просто хотелось, чтобы другие женщины смотрели на нее с одобрением. После нескольких месяцев поденной работы ей удалось получить постоянное место — прислуги в семье весьма среднего достатка и весьма высоких претензий. Особенно в том, что касалось образа жизни.

«Чолли становился все более злым и раздражительным, все норовил со мной подраться. Я,

как могла, давала ему сдачи. Приходилось. Получается, кроме работы прислугой у той гадкой женщины и бесконечных ссор с Чолли, у меня и жизни-то никакой не было. Очень мне это надоело. Но за работу я все-таки держалась, хотя работать в такой семейке было ох как нелегко. И дело даже не в том, что хозяйка была какая-то уж очень злая. Нет, она просто была жутко глупая. И вся семья у них была такая. Никто друг с другом ужиться не мог. И ведь сами-то ничего из себя не представляли, а уж гонору! Имея такой хорошенький дом и, в общем, вполне достаточно денег, могли бы жить-поживать да радоваться. Только эта женщина из-за любого пустяка способна была бурю устроить. Например, если кто-то из подруг резко обрывал ее, разговаривая с ней по телефону, она бросала трубку и принималась плакать. Ей бы радоваться, что у нее телефон есть. У меня вот до сих пор нету. А еще, помнится, какую бучу она устроила, когда младший брат — она его еще в какую-то особую школу устраивала, где учат, как зубы лечить, — не пригласил их с мужем на какую-то вечеринку. Ох, какую ссору она из этого раздула! Целыми днями на телефоне висела. Все ссорилась с братом, все что-то сердито ему выговаривала. Даже меня спросила: «Вот что бы

ты, Паулина, сделала, если бы твой брат устроил вечеринку, а тебя не пригласил?» Я ответила, что, если бы мне и впрямь на эту вечеринку хотелось, так я бы в любом случае туда пошла. И плевать, хочет этого мой брат или не хочет. Она на это только языком поцокала и заявила, что я вроде как полную чушь несу. А я смотрела на нее и думала: «До чего ж ты все-таки дура!» Ну вот кто ей сказал, что брат с ней дружить хочет? И потом, не причина, по-моему, любить человека только за то, что у вас с ним одна и та же мать. Хотя сама-то я честно пыталась к ней, к этой глупой женщине, по-хорошему относиться. Она, вообще-то, была довольно добрая и всякие вещи мне дарила, но полюбить ее я так и не смогла. Только я начинала испытывать к ней добрые чувства, она непременно откалывала что-нибудь такое, что ни в какие ворота не лезло. Например, начинала учить меня, как нужно в доме убирать и все такое. Да если б она сама там хозяйничала, так давно бы в грязи утонула! Мне даже за младшими братишками, Цыпленком и Пирожком, не нужно было все подбирать, а с этой семейкой ни минуты покоя не было. Они даже задницу себе толком вытереть не умели! Уж я-то знаю: ведь стирать-то за ними мне приходилось. И помочиться по-человечески

не могли — вечно мимо. Ее муж вообще в унитаз попасть не мог. В общем, когда белые люди такие противные, ничего противнее этого и на свете нет. Но я бы все равно у них служить осталась, если бы Чолли однажды пьяным туда не заявился. Он-то все и испортил. Пришел и заявил, что ему нужны деньги. Когда моя белая хозяйка его увидела, она страшно покраснела, напыжилась и стала из себя сильную женщину изображать, да куда там: сразу было видно, до чего она напугана. Короче, она велела Чолли убираться вон и пригрозила, что иначе вызовет полицию. А он послал ее куда подальше и начал ко мне приставать. Я бы дала ему по башке, да уж больно мне с полицией связываться не хотелось. Так что я просто собрала свои вещички и ушла. Я, конечно, попыталась вернуться, только хозяйка заявила, что, если я с Чолли останусь, я им больше не нужна. А вот если я от мужа уйду, так она с радостью позволит мне остаться. Ну, я подумала-подумала и решила: негоже это, когда черная женщина бросает черного мужчину ради белой женщины. А ведь она мне так и не заплатила те одиннадцать долларов, которые за работу задолжала. Нет, не заплатила! А для нас это бедой обернулось. Мне нечем было за газ заплатить, и газовщик нас

отключил, так что я даже еду приготовить не могла. Я прямо-таки умоляла эту женщину отдать мои деньги. Специально к ней сходила. А она, эта мокрая курица, разъярилась и заявила, что это я ей задолжала — за фартук, за платье, за какую-то давным-давно сломанную кровать, которую она мне сама отдала. Я и сама толком не знала, может, я и впрямь ей что-то должна, да только уж больно деньги были нужны. И ведь я их заработала. А она ни за что отдавать не хотела. Даже когда я ей слово дала, что Чолли никогда больше к ним в дом не заявится. Я в таком отчаянии была, что даже решилась спросить, может, она тогда одолжит мне эти одиннадцать долларов? Это на нее вроде как подействовало, и она некоторое время молчала, но потом снова завела старую песню, что я не должна позволять мужчине мной помыкать, что я должна заставить мужа меня уважать, что это мой муж обязан по счетам платить, а если он даже «такой мелочи» не может, так мне надо поскорей от него уйти и получать алименты. Ну и еще всякую такую чушь несла. Да с чего это он вдруг будет мне алименты-то платить? Было ясно: до нее так и не дошло, что я хочу всего лишь получить свои одиннадцать долларов да поскорее газовщику заплатить, чтобы можно

было хоть поесть нормально. Нет, она даже такой простой вещи своей тупой башкой понять не могла. «Так ты собираешься от него уходить или нет?» — все спрашивала она, и я подумала: а что, если я скажу «да»? Может, тогда она отдаст мне мои денежки? И я сказала: «Да, мэм, собираюсь». — «Вот и хорошо, — говорит она, — как только уйдешь от него, так сразу же возвращайся к нам и начинай работать. И, как говорится, кто старое помянет, тому и глаз вон». — «А деньги я смогу прямо сегодня получить?» — спросила я. «Нет, — отвечает, — вот уйдешь от него и сразу получишь. Пойми, я же о тебе и твоем будущем забочусь. Ну что ты в нем такого нашла, Паулина? Чем он так уж хорош?» Вот что можно ответить женщине, которая не понимает, что может быть в мужчине хорошего? Которая одной половиной рта уверяет тебя, что заботится только о твоем будущем, а вторую половину кривит, потому что не желает тебе твои же собственные деньги отдавать, хотя тебе и поесть-то толком не на что? Так что я честно сказала: «Да ничего в нем хорошего нет, мэм. И для меня он тоже не так уж хорош. А все ж я лучше при нем останусь». Тут она вскочила, а я повернулась и ушла. Когда я из дому-то вышла, у меня вдруг так живот заболел, спасу

нет, видно, я слишком крепко ноги стискивала, пытаясь заставить эту женщину меня понять. Теперь-то я знаю: она и не могла меня понять. Ведь она была замужем за человеком, у которого на лице какая-то щель вместо рта. Где уж ей было меня понять».

Однажды зимой Паулина обнаружила, что беременна. Когда она сообщила об этом Чолли, то, к ее удивлению, он обрадовался. Стал меньше пить, чаще бывал дома, и они легко вернулись почти к тем идеальным отношениям, какие существовали у них в первые недели брака. Теперь Чолли то и дело спрашивал, не устала ли Паулина и не нужно ли ему сходить в магазин и что-нибудь ей принести.

Разумеется, теперь и речи не могло быть о том, чтобы Паулина продолжала работать поденно, и она, вся во власти какого-то невероятного покоя, вернулась к привычным домашним обязанностям. Но спрятаться от одиночества в двух крохотных комнатках ей по-прежнему было некуда. Когда луч зимнего солнца высвечивал облезлые кухонные табуретки, выкрашенные зеленой краской, когда в кастрюле в очередной раз кипели копченые свиные ножки, когда единственным доносившимся до нее звуком был

грохот грузовика, с которого внизу сгружали привезенную мебель, Паулина вновь вспоминала, как все было там, у них дома, где она тоже большую часть дня проводила в одиночестве, только это было какое-то совсем другое одиночество. Наконец ей осточертело пялиться на облезлые кухонные табуретки и слушать грохот сгружаемой мебели, и она стала ходить в кино. Там, в темноте, ее память освежалась, и она снова плыла на волнах былых мечтаний. К ее старому представлению о романтической любви теперь прибавилось еще и представление о «настоящей» физической красоте. Возможно, эти два понятия вообще самые деструктивные в истории человеческой мысли, поскольку оба порождены завистью, оба расцветают при отсутствии защищенности, оба приводят к разбитым иллюзиям. Приравнивая физическую красоту к добродетели, Паулина обнажала свою душу, одновременно связывая ее, и вырабатывала в себе презрение к собственной внешности. Она забывала о таких простых вещах, как физическое влечение, нежность, забота о ближнем. Она воспринимала любовь как обладание, как одержимое совокупление, а романтические отношения считала наивысшей духовной целью. Эти отношения

могли бы стать для нее вечным источником, бьющим из-под земли, однако черпала бы она в нем самые разрушительные эмоции: обманывала бы своего возлюбленного, изыскивая любую возможность подвергнуть его некоему «тюремному заточению», и таким образом как бы обстригала свою любовь с обоих концов.

После полученного в кино «образования» Паулина навсегда утратила способность просто смотреть на чье-то лицо, не причисляя его к той или иной категории по выстроенной ею самой шкале «абсолютной красоты», подаренной кинематографом. Там, на серебристом экране, возникали и темные леса, и пустынные дороги, и безмолвный берег реки, и нежные, всепонимающие глаза любимого. Там ущербные становились полноценными, слепые прозревали, хромые и убогие отшвыривали костыли. Там смерть была мертва, а люди жили, и буквально каждый их жест совершался под аккомпанемент неземной музыки. Там черно-белые изображения чудесным образом соединялись, благодаря падавшему сверху и сзади лучу света.

Это действительно было довольно простое удовольствие, но именно благодаря ему Паулина поняла, что ей стоит любить, а что — ненави-

деть.

«Только в кино я и чувствовала себя вроде как счастливой. И каждый раз старалась пойти туда и снова испытать это чувство. Я любила приходить пораньше, до начала сеанса. Усаживалась, в зале тушили свет, все окутывала темнота. Потом вспыхивал экран и начиналась другая жизнь. С какой нежностью и заботой белые мужчины относились к своим женщинам! А как красиво они все были одеты! И все они жили в больших чистых домах, где особое просторное помещение было отведено под ванную и уборную. Ох, сколько удовольствия я получала от этих фильмов! Вот только после кино мне все труднее становилось возвращаться домой, к Чолли с его проклятой похотью. Ну, я не знаю…

Помнится, однажды я пошла на фильм с Кларком Гейблом и Джин Харлоу[15]. Я даже волосы уложила, как у нее, — на картинке в журнале видела. На косой пробор, и один маленький завиток на лоб спущен. В общем, в точности как у нее. Ну, почти как у нее. Короче, сидела я в кино

---

[15] Примечания: 15

Кларк Гейбл (1901–1960) — американский актер, секс-символ 30—40-х годов; получил прозвище «король Голливуда». Джин Харлоу (1911–1937) — американская актриса, секс-символ 30-х годов, платиновая блондинка.

с волосами, уложенными, как у Джин Харлоу, и наслаждалась. Я уже не первый раз этот фильм смотрела, но хотела обязательно снова досмотреть все до конца и решила купить себе сладкий пирожок, чтобы особенно не проголодаться. Я уже садилась на свое место и успела откусить довольно большой кусок, когда вдруг почувствовала, что вместе с этим куском у меня вываливается зуб. Я чуть не заплакала. Да у меня отродясь ни одного гнилого зуба не было! У меня всегда зубы были очень хорошие. Ужасно я расстроилась — думала, прямо не переживу. Это ж надо: у меня беременность пять месяцев, я стараюсь выглядеть, как Джин Харлоу, а у меня передний зуб выпадает! Вот с этого-то у нас и началось. Мне вроде как безразлично все стало. Я перестала стричь волосы — пусть растут как хотят — и просто зачесывала их назад или заплетала и подбирала наверх. Короче, решила быть просто уродиной. В кино-то я ходила по-прежнему, однако меня все сильней охватывало чувство собственного убожества. Мне хотелось одного: вернуть свой зуб. Чолли надо мной подшучивал, и мы снова начали ссориться. Я даже убить его пыталась. Но он не особенно яростно отвечал — все-таки я была беременная. Однако стоило нашим стычкам вновь начаться,

и они никогда уж больше не закончились. Теперь Чолли старался при любой возможности довести меня до белого каления, так что я просто удержаться не могла, чтобы чем-нибудь его не треснуть. Ну, вскоре родила я мальчика, а потом опять забеременела. Только все получалось не так, как я думала раньше. Нет, я, наверное, своих детей все-таки любила, но, может, дело было в постоянном отсутствии денег, а может, в Чолли, только всю душу мне эти дети вымотали. Иной раз я сама себя останавливала, потому что и орала на них, и била обоих, и частенько, похоже, незаслуженно; мне даже стыдно становилось, стыдно и жалко их. Да только я ничего уже не могла с собой поделать. Когда я родила второго ребенка, девочку, то, помнится, сказала себе, что буду любить ее, как бы она ни выглядела. А выглядела она, как клубок черной «негритянской шерсти». Я не помню, чтобы в первый раз я так уж старалась забеременеть. А вот во второй раз я и впрямь старалась. Может, потому, что одного ребенка уже родила и не боялась. Так или иначе, чувствовала я себя хорошо и о беременности даже не думала, думала только, какой у меня ребенок получится. Я частенько с ним разговаривала, пока он еще у меня в утробе был. Мы

прямо-таки добрыми друзьями стали. Ну, например, вешаю я белье, но знаю, что поднимать руки вверх для ребенка нехорошо. Тогда я ему и говорю: ты, мол, держись, не бойся, я быстренько эти тряпки повешу. А он меня слушает и сидит тихо, не подпрыгивает, не брыкается. Или, скажем, я что-нибудь готовлю, салат в миске размешиваю и с ним разговариваю. Просто так, по-дружески. И до самого конца я со вторым ребенком очень хорошо себя чувствовала. Когда время пришло, я в больницу отправилась. Хотела, чтоб все поспокойней прошло. Не хотела дома рожать, как первого мальчика. Ну, сперва меня положили в просторную предродовую, где было полно женщин. Боли уже начались, но не очень сильные. Пришел какой-то маленький старенький доктор меня осматривать. С целой кучей всяких инструментов. Надел на руку перчатку, смазал ее чем-то вроде желе и сунул мне между ногами. Потом он ушел, но пришли еще доктора. Один старый и несколько молодых. Старый учил молодых, как детишки на свет появляются. Показывал, что и как надо делать. А когда он ко мне подошел, то заявил, мол, с такими женщинами у вас никаких хлопот не будет. Они, говорит, рожают быстро и совсем без боли, в точности как лошади. Молодые

вежливо поулыбались, потом осмотрели мой живот и между ногами тоже, но никто мне ни слова не сказал.

Только один на меня посмотрел. Посмотрел мне в лицо, я хочу сказать. И я тоже прямо на него посмотрела. Вот тут-то он глазки и опустил, да еще и покраснел до ушей. Видно, понял, что никакая я не кобыла жеребая, а роженица, как все. А остальные-то нет, ничего они не поняли!

Они пошли дальше, и я видела, как они разговаривали с другими женщинами, с белыми: «Как вы себя чувствуете? У вас, наверное, близнецы будут?» Ерунду всякую несли, конечно, но все равно — такая приятная дружеская беседа. И я вдруг распсиховалась, а тут еще и боли усилились, так я им даже обрадовалась. Обрадовалась, что надо о чем-то другом думать. Стонала я ужасно, хотя на самом деле было не так уж и больно. Но я должна была дать понять этим «докторам», что рожать ребенка — это не по-большому сходить, и страдаю я не меньше тех белых женщин, и если я до сих пор не кричала и не извивалась, как червяк, еще не значит, что я никакой боли не испытывала.

Что за глупости они себе вообразили? Неужели, если у меня уже есть опыт, если я знаю, как без лишней суеты и шума ребенка родить, то мне

совсем не больно? А ведь и у меня все внутри разрывалось, как и у всех прочих женщин. И, кстати, тот доктор, видно, понятия не имеет, как кобыла жеребится. Интересно, откуда он взял, что лошадям не больно? Только потому, что кобыла не кричит, не может словами это сказать? Неужели поэтому они, дураки, решили, что кобылы никакой боли не испытывают? А вот если б они в глаза кобыле заглянули, так, небось, увидели бы, что они у нее чуть из орбит не выпрыгивают, а в них такая боль и печаль… Может, тогда б и они поняли.

В общем, ребенок родился. Крупный здоровый ребенок. Девочка. Только выглядела она совсем не так, как мне думалось. Наверно, я сама виновата: слишком много с ней разговаривала, вот и надумала себе картинку. А когда я и впрямь ее увидела, так мне показалось, что я смотрю на фотографию своей мамы, когда она еще девочкой была. То есть ты вроде бы и знаешь, кто перед тобой, только выглядит он почему-то совсем не так. Мне дали ее покормить, и она сразу грудь взяла, да так, что чуть сосок мне не оторвала. Сэмми не такой был, из всех детей он хуже всех грудь брал. А Пикола, казалось, сразу поняла, что и как нужно делать. Правильный такой ребенок,

смышленый. Мне так нравилось за ней наблюдать. Знаешь, как жадно они чмокают, когда едят. И глазки такие нежные, влажные становятся. Почему-то младенцы мне всегда представлялись похожими одновременно и на щенят, и на совсем старых умирающих людей. Но я уже понимала: девочка будет некрасивая. Волос на голове полно, и сами они красивые, а вот девочка — господи, ну до чего безобразная!»

Сэмми и Пикола были еще маленькими, когда Паулине пришлось вернуться на работу. Теперь она стала старше и не могла попусту тратить время на мечты и кинофильмы, чувствуя, что пора собирать вместе разрозненные куски своей жизни и устанавливать связь там, где ее раньше не было. Эта потребность возникла у нее с появлением детей; сама же она себя ребенком больше не ощущала. Так что она совершенно преобразилась; этот процесс превращения в нечто, соответствующее общим представлениям о порядочности и приличиях, происходил у нее, как и у большинства из нас: у Паулины выработалась ненависть ко всему, что способно было ее озадачить или ввести в заблуждение, однако она приобрела и определенные добродетели, которые было нетрудно продемонстрировать, и стала

играть некую постоянную и привычную роль в общем порядке, вернувшись также и к более простой форме вознаграждения себя за труды.

Полностью взяв на себя ответственность за семью и, по сути дела, став ее кормилицей, она также вновь обратилась к церкви. Начала она, впрочем, с того, что выехала из своих жалких двух комнаток в более просторное помещение на первом этаже дома, где некогда предполагалось устроить склад и магазин. Затем постаралась сделать так, чтобы те женщины, которые прежде ее презирали, воздали ей должное, ибо она оказалась более добродетельной и высоконравственной, чем они; она также отомстила за себя Чолли, вынудив его злоупотреблять алкоголем — а эту его слабость она особенно презирала. Она превратилась в добропорядочную прихожанку той церкви, где любое повышение голоса встречалось нахмуренными бровями, вошла в Совет домохозяек и стала членом женского кружка. На молитвенных собраниях она стенала и горестно вздыхала по поводу недостойного поведения Чолли и просила Господа помочь ей спасти детей от грехов их отца. Ее речь стала более правильной, она перестала пропускать согласные в словах, даже наоборот, добавляла лишние. Она равно-

душно отреагировала на выпадение очередного зуба. Теперь ее просто в ярость приводили те размалеванные женщины, у которых в голове были только шмотки и мужчины. Чолли служил для нее главным примером грехопадения, и супружество она воспринимала как некий терновый венец, а собственных детей — как тяжкий крест.

Паулине здорово повезло: она нашла постоянную работу в одной весьма обеспеченной семье, члены которой были доброжелательны, щедры и, безусловно, ценили ее услуги. Их дом она просто обожала. Она с наслаждением вдыхала запах постельного белья, с нежностью касалась шелковых портьер, а розовенькая ночная рубашонка маленькой дочки хозяев, горка белых подушек в детской с вышитыми по краю синими васильками и простыни, украшенные такой же вышивкой, вызывали у нее слезы умиления. Паулину сейчас вполне можно было бы назвать идеальной прислугой, ибо эта роль удовлетворяла практически все ее потребности. Она испытывала несказанное удовольствие, купая маленькую дочку Фишеров в фарфоровой ванне с серебряными кранами, из которых текло сколько угодно чистой воды, холодной и горячей. Потом она вытирала девочку пушистыми белыми полотенцами, наряжала в

уютную ночную рубашечку и принималась расчесывать ее светлые волосы, пропуская гладкие прямые пряди между пальцами и наслаждаясь этим ощущением. И никакого цинкового корыта, никаких ведер с нагретой на плите водой, никаких вытертых жестких полотенец, давно ставших серыми, поскольку их стирали в раковине на кухне, а сушили на пыльном заднем дворе! И никаких спутанных черных завитков, больше похожих на грубую собачью шерсть, которые совершенно невозможно расчесать! Вскоре Паулина практически оставила любые попытки поддержать должный порядок в собственном доме. Все равно те вещи, которые она могла позволить себе купить, были крайне недолговечны, не обладали ни красотой, ни стилем; все равно любую, даже самую новую вещь как бы поглощало убогое, тускло освещенное помещение бывшего склада. Паулина все меньше занималась домом, детьми, мужем — они возникали в ее жизни, точно слишком поздно пришедшие в голову мысли; такие мысли обычно возникали у нее перед сном, на самом краешке прожитого дня, или рано утром, на последнем темном краешке ночи, и, возникнув, лишь побуждали ее поскорее вернуться в дом Фишеров и прожить очередной

день там, где после случайных мыслей о доме и семье все представлялось ей особенно светлым, изящным и очаровательным. У Фишеров она имела право по-своему переставлять вещи, сколько угодно их мыть, чистить и выстраивать по ранжиру. Там ее больная нога совершенно беззвучно шлепала по толстым шерстяным коврам. Там она обретала все — красоту, порядок, чистоту и похвалу. Мистер Фишер частенько утверждал: «Да ее пироги с голубикой стоят дороже целого поместья!» Она правила на кухне среди столов и кладовок, буквально забитых едой, которую даже за неделю, даже за месяц не съесть; она была королевой консервированных овощей, которые покупались целыми ящиками, собственноручно изготовленных леденцов, «рваного» печенья и рулетиков, уютно разложенных по серебряным тарелочкам. Кредиторы и всякие чиновники, унижавшие ее, когда она обращалась к ним от своего имени, выказывали всяческое уважение и даже заискивали перед ней, если она приходила по просьбе Фишеров. У мясника она с презрением отвергала говядину, если та чуточку потемнела или кусок был отрезан неаккуратно. Для членов собственной семьи она вполне могла приготовить и несвежую, даже чуть подванивавшую

рыбу, но если торговец присылал такую в дом Фишеров, она запросто могла швырнуть эту рыбу ему в лицо. В доме Фишеров она чувствовала себя настоящей хозяйкой; все в нем — власть, похвала и роскошь — принадлежало ей. Фишеры дали ей даже то, чего у нее никогда не было: милое домашнее имя Полли. Она испытывала истинное наслаждение, стоя на кухне под конец рабочего дня и созерцая плоды собственного труда. Она знала, что в ее распоряжении по крайней мере дюжина кусков мыла, а в холодильнике имеется большой кусок бекона на утро, и машинка для нарезания бекона начищена до блеска, и сверкают на полках начищенные кастрюли и сковородки, и сияет чистотой пол. А как приятно ей было то и дело слышать: «Нет, что вы, Полли мы никогда не отпустим! Такую, как наша Полли, нам нигде не найти! Она же из кухни не выйдет, пока там абсолютный порядок не наведет. Вот уж действительно идеальная прислуга!»

На самом деле Паулина поддерживала порядок и красоту в основном для себя самой — это был ее личный мирок, куда она никогда не допускала собственных детей и никогда не пыталась перенести хотя бы часть этого мирка в собственную квартиру, на бывший склад. Детей своих она

учила быть «порядочными» и вести себя «прилично», но, поступая так, учила их страху: страху оказаться неуклюжими, страху стать похожими на отца, страху быть отвергнутыми Богом, страху перед безумием, поразившем их бабушку, мать Чолли. В итоге ей удалось вбить в сына отчетливое желание как можно скорее сбежать из дома, а в дочь — страх перед необходимостью стать взрослой, страх перед другими людьми, страх перед жизнью.

Весь смысл жизни Паулины теперь заключался в работе. Ибо ее добродетели оставались неприкосновенными. Она была активной прихожанкой, не пила, не курила, не бражничала, успешно защищала себя от нападок Чолли, чувствуя себя во всех отношениях выше мужа, и должным образом исполняла роль матери, указывая детям на недостатки отца, дабы уберечь их от его негативного влияния, или наказывая их за проявленную неряшливость (не важно, сколь существенной та была). Она была уверена, что имеет на все это полное право, поскольку работает по двенадцать-шестнадцать часов в день, чтобы всех содержать. И окружающий мир был полностью с ней согласен.

Лишь иногда, очень редко, а потом все реже

и реже Паулина вспоминала былые времена или задумывалась о том, во что превратилась ее жизнь. Но это были довольно поверхностные ленивые мысли, правда, полные порой былой мечтательности; и мысли эти были совсем не о том, как она на самом деле хотела бы теперь жить.

«Я уж было совсем собралась от него уходить, но тут кое-что произошло. Один раз, правда, когда он попытался поджечь дом, я про себя решила: все, теперь точно уйду. А сейчас и припомнить не могу, что меня удержало. Уж он-то мне точно житья не давал. Но все ж таки иногда было совсем даже неплохо. Не часто, но иногда. Он приходил ночью и ложился ко мне в постель, такой спокойный, веселый и даже не очень пьяный. Я, конечно, притворялась, что сплю, — во-первых, было уже поздно, а во-вторых, он утром вытащил у меня из кошелька три доллара, а в третьих… ну, еще что-нибудь. Я слышала, как он дышит, но не оборачивалась. Я и так хорошо представляла себе, как он лежит, закинув свои черные ручищи за голову, и мускулы на них, как тяжелые куски сланца, а вены стекают к запястьям, как маленькие речки, вздувшиеся от половодья. Мне и прикасаться к нему было не нужно — мои

кончики пальцев так хорошо помнили эти бугры мускулов.

И ладони его я словно перед собой видела — с жесткими, как гранит, мозолями, — и длинные красивые пальцы, только сейчас согнутые и неподвижные. И густые курчавые волосы у него на груди, и два больших твердых бугра грудных мышц. Так хотелось прижаться к его груди лицом, сильно потереться об эти жесткие волосы и почувствовать, как они почти царапают мне кожу. Я хорошо знала, где волос становится значительно меньше — как раз над пупком — и где они снова бурно разрастаются, захватывая все большее пространство. Может, думала я, он сам шевельнется, коснется меня ногой или боком прижмется к моей заднице? Но нет, и я по-прежнему не поворачивалась к нему, и он лежал, не шевелясь. Потом, правда, все же не выдерживал: приподнимал голову, поворачивался на бок и нежно так обхватывал своей ручищей мою талию. Если я продолжала лежать неподвижно, он немного сдвигал руку и принимался гладить и массировать мне живот. Ласково, неторопливо. Но я все еще не решалась даже пошевелиться, потому что боялась, что он перестанет меня гладить. Так приятно было притворяться спящей!

Пусть бы он вот так гладил меня да гладил… Но он снова приподнимался, наклонялся надо мной и кусал меня в грудь. А мне больше уж и самой не хотелось, чтобы он мне живот гладил, а хотелось, чтобы поскорей к другим ласкам переходил, но ноги я пока не раздвигала, делала вид, будто только-только просыпаюсь. Хотела, чтобы он их руками раздвинул. И поворачивалась к нему, и он раздвигал мне ноги, и там, где меня касались его твердые сильные пальцы, я становилась мягкая, как горячий воск. И вся моя сила уходила в его руку. Мозги скручивались в трубочку, как засохшие листья. А в руках возникало странное ощущение пустоты — хотелось что-нибудь ими схватить и держать, вот я и хватала его за голову обеими руками и крепко держала.

Но его губы оказывались где-то у меня под подбородком. А мне уже больше не хотелось, чтобы он ласкал меня там, между ногами, мне начинало казаться, что тот жар и моя размягченность проходят, и я широко раздвигала ноги. Он моментально оказывался сверху. С одной стороны, он был слишком тяжелым, чтобы я могла долго выдерживать его вес, а с другой — я вполне этот вес выдерживала. И он глубоко входил в меня, а я обвивала его ногами, чтобы он уж точно ни-

куда от меня не делся, чтобы его лицо было все время рядом с моим. Пружины нашей кровати верещали, как сверчки. Он сплетал свои пальцы с моими, и мы лежали, раскинув руки, точно Христос на кресте. Я держалась изо всех сил. Пальцы рук и ступни у меня были напряжены, и это единственное помогало мне держаться, потому что все остальное во мне куда-то двигалось, уплывало… Я знала: он хочет, чтоб я кончила первой. Но я не могла. Нет — первым это должен был сделать он. Чтобы я почувствовала, как он меня любит. Любит только меня одну. Тонет во мне. Чтобы я точно знала: единственное, что у него сейчас на уме, это мое тело. Что теперь он не сможет остановиться, даже если захочет. Что сейчас для него лучше умереть, чем выйти из меня. Вот пусть и отдает мне все, что у него есть. Мне. Мне. Тогда я сразу же и в себе почувствую невероятную силу. Я почувствую себя не только сильной, но и красивой, и молодой. А потому я выжидала. Наконец-то! Он содрогался, тряс головой, и я понимала: теперь я достаточно сильна, хороша собой и молода, чтобы позволить ему и меня довести до точки кипения. Я отнимала свои пальцы и сжимала ими его поясницу, ягодицы и снова бессильно падала на постель, но все это

молча — ведь меня могли услышать дети, — хотя я уже чувствовала, как в потаенном уголке души, в памяти моей вновь начинали всплывать крошечные цветные осколки воспоминаний — вспышка зеленого света от крыльев июньского жука, пурпурные пятна ягодного сока у меня на платье, желтый мамин лимонад, сладостный вкус которого сразу возникает у меня во рту. И между ногами у меня звучало что-то вроде смеха, и смех этот словно вздрагивал в такт моим цветным воспоминаниям, и я боялась, что сейчас кончу, и боялась, что не смогу этого сделать, но знала, что все непременно получится как надо. И все получалось как надо. И у меня внутри словно вспыхивала радуга. И все горела, горела, горела. И мне хотелось сказать ему «спасибо», но я не знала, как это сделать, и просто ласково похлопывала его по спине, точно ребенка. А он спрашивал, хорошо ли мне было. И я говорила «да». И тогда он из меня выходил и ложился рядом, уже совсем сонный. А я по-прежнему молчала, хотя мне очень хотелось его поблагодарить. Но я боялась, что слова спугнут ощущение радуги. А еще мне надо было встать и пойти в туалет, но я не вставала. Тем более Чолли сразу же засыпал, закинув на меня тяжелую ногу, так что я даже двинуться

не могла. Да и не хотела.

Вот только теперь это бывает совсем не так. Теперь Чолли чаще всего берет меня чуть ли не силой, не дожидаясь, когда я проснусь, и успевает кончить еще до того, как я к нему повернусь. А в другие ночи мне противно даже лежать рядом с его провонявшей перегаром тушей. Да и охота заниматься любовью у меня совсем пропала, все как-то безразлично стало. Ничего, Создатель, небось, как-нибудь обо мне позаботится. Уверена, что позаботится. Уверена. И нет мне никакого интереса знать, что на нашей старой земле твориться будет. Ведь ТАМ меня наверняка ждут радость и счастье. Вот только порой мне все-таки не хватает той радуги. Но это я так; я ведь уже сказала, что редко теперь обо всем таком вспоминаю».

ВОТПАПАОНБОЛЬШОЙИСИЛЬНЫЙПАПА
ТЫПОИГРАЕШЬСДЖЕЙНПАПАУЛЫБАЕТСЯ
УЛЫБАЙСЯПАПАУЛЫБАЙСЯУЛЫБАЙСЯ

Когда Чолли было четыре дня от роду, мать завернула его в два одеяла, а сверху еще и в газету, и положила на кучу мусора возле железной дороги. Но Джимми, двоюродная бабушка Чолли, заметила, что племянница потихоньку вышла из задней двери с каким-то свертком, и пошла за

ней. Ребенка Джимми спасти успела, а его мать хорошенько отлупила ремнем для правки бритвы и больше к мальчику не подпускала.

Тетушка Джимми сама вырастила Чолли, но иногда все же с удовольствием рассказывала ему, как спасла его от родной матери. От нее же он узнал, что у его матери всегда были нелады с головой. Впрочем, возможности самому убедиться в этом у него не было, потому что вскоре после той порки ремнем для правки бритвы его мать сбежала из дому, и с тех пор о ней не было ни слуху ни духу.

Чолли всегда был благодарен тетушке Джимми за то, что она его спасла. Вот только иногда — например, когда она при нем пальцами ела цветную капусту и противно чавкала, показывая четыре золотых зуба, или когда он чувствовал ее запах, кислый и острый, потому что она вечно носила на шее мешочек с асафетидой, или когда зимой заставляла его для тепла спать с ней в одной постели и он видел в вырезе ночной рубашки ее старые сморщенные груди, — ему приходило в голову, что, может, лучше бы он тогда все-таки умер на куче мусора возле какой-нибудь старой автомобильной покрышки под бархатным черным небом Джорджии.

Он закончил уже четвертый класс, когда у него наконец хватило мужества спросить у Джимми, кто его отец и где он.

— Я думаю, один из парней Фуллера, — сказала она. — Он тогда все около твоей матери ошивался, а потом быстренько смылся, когда узнал, что ребенок будет. Наверное, в Мэйкен подался. В общем, или он, или его брат. А может, и оба. Я слышала, как старик Фуллер однажды что-то на сей счет говорил.

— А как его фамилия? — спросил Чолли.

— Ну конечно же Фуллер, глупыш!

— Нет, я хотел узнать, как его полное имя.

— Ну… — Тетушка Джимми даже глаза закрыла, пытаясь припомнить, потом со вздохом призналась: — Нет, не помню. Фуллер — и все. Может, Сэм? Сэмюэл? Нет. Как-то не так… Сэмсон он был. Сэмсон Фуллер.

— А почему ж тогда меня никто Сэмсоном не назвал? — очень тихо поинтересовался Чолли.

— С чего бы это? Да твоего отца к тому времени, как ты родился, и с собаками было не найти! А твоя мать тебе и вовсе никакого имени не дала. Еще и девяти дней после родов не прошло, как она тебя на мусорную кучу пристроила. А я тебя оттуда забрала, да сама и именем тебя на девятый

день нарекла. В честь моего покойного брата. Чарлз Бридлав его звали. Хороший был человек. А что хорошего тебе имя Сэмсон дать могло? Да ничего!

Больше Чолли ни о чем не спрашивал. Через два года он бросил школу и стал работать на мукомольном комбинате Тайсона, при котором был магазин детского питания. В основном он подметал пол и выполнял различные мелкие поручения; иногда еще взвешивал мешки и ставил их на подводы. А иной раз ему разрешали даже проехаться вместе с ломовым извозчиком. Это был милый старик по прозвищу Дубок. Он рассказывал Чолли всякие истории из стародавних времен о том, как все было до Закона о равноправии[16]. Как после объявления, сделанного президентом Линкольном, черные радовались, кричали и пели.

А еще он рассказывал всякие истории о привидениях; например, как один белый отрезал своей жене голову, а тело ее утопил в болоте, и это лишенное головы тело вставало по ночам

---

[16] Примечания: 16

Закон о равноправии, принятый президентом Линкольном 1 января 1863 года и делавший свободными чернокожих рабов на тех территориях (на Юге), которые все еще сопротивлялись объединению. Иногда называется еще «Объявлением эмансипации».

и, спотыкаясь, бродило по двору, налетая на все и переворачивая разные предметы, потому что видеть-то оно не могло, и все время плакало и просило дать ему гребень, чтобы волосы расчесать. Они довольно часто беседовали о женщинах, которых у Дубка когда-то было немало, и о тех драках, в которых он участвовал, когда был молодым. А еще он рассказал Чолли, как ему однажды удалось уболтать тех, кто хотел его линчевать, и избежать казни, хотя очень многим повезло гораздо меньше. Чолли старика просто обожал. И через много лет, уже став взрослым, часто вспоминал, как много приятных часов провел когда-то в обществе Дубка. Был, например, такой замечательный случай. 4 июля, в День независимости, на устроенном церковью пикнике отец одного семейства вознамерился с маху разбить большой арбуз. Вокруг него тут же собрались дети, в том числе Чолли. Дубок болтался чуть поодаль и явно предвкушал развлечение; по лицу его бродила слабая лукавая улыбка. Отец семейства, крупный мужчина, легко поднял арбуз над головой — и Чолли показалось, что он выше деревьев, да и солнце совсем скрылось за вознесшимся ввысь огромным арбузом, — и на несколько мгновений застыл, наклонив голову

и высматривая подходящий валун. Чолли, глядя на его мощную фигуру, словно выгравированную на фоне ярко-голубого неба, чувствовал, как по рукам и по шее у него ползут мурашки. Ему вдруг показалось, что так должен выглядеть сам Господь Бог. Нет, нет, тут же подумал он, Бог — это хороший добрый старик с седой головой, длинной седой бородой и маленькими голубыми глазками, которые смотрят печально, когда люди умирают, и зло, когда кто-то совершает дурные поступки. Скорее уж так мог выглядеть дьявол — это он держит в руках земной шар и готовится так шарахнуть его об камень, чтобы вывалились и испачкались все его красные внутренности, а «ниггеры» смогли бы полакомиться этими сладкими теплыми внутренностями земли. Ну что ж, если дьявол выглядит действительно так, то Чолли он нравился, пожалуй, больше. Он никогда особо не задумывался о Боге, однако его страшно интересовала и возбуждала уже сама идея существования дьявола. Значит, сейчас этот могучий чернокожий дьявол, закрывающий собой солнце, готовится вдребезги расколоть земной шар…

В отдалении кто-то заиграл на губной гармонике; музыка поплыла над полями сахарного тростника и нырнула в сосновую рощу, спира-

лью обвивая стволы деревьев и смешиваясь с густым запахом хвои. Чолли даже не сразу понял, что окутало его такой плотной пеленой — звуки музыки или этот запах.

Могучий отец семейства резко опустил арбуз на острый край валуна, и над толпой собравшихся повис стон разочарования. Арбузная корка лопнула крайне неудачно, образовав дыру с неровными краями. Вместо того чтобы расколоться пополам, арбуз просто развалился, и куски корки и красной мякоти разлетелись по траве.

Дубок так и подскочил. «Ай-яй-яй, — запричитал он, — и серединка-то вся выскочила!», однако в голосе его Чолли услышал не только сочувствие, но и определенное удовлетворение. Ребятня сразу стала высматривать, куда отлетела красная сердцевина арбуза, самая вкусная его часть, не имевшая ни корки, ни семечек. Оказалось, что она подкатилась прямо к Дубку, почти к самым его ногам, и Дубок, разумеется, наклонился и поднял ее. Сердцевина так и сочилась соком и была красная, как кровь, а края чуть бледнее, сахарно-сладкие даже с виду. Все это обещало почти непристойное наслаждение. «Ну, Дубок, — рассмеялся отец семейства. — Она твоя, забирай!» Дубок улыбнулся и отошел в

сторонку. Малышня тут же кучей налетела на рассыпавшиеся по земле куски арбуза. Женщины заботливо выковыривали семечки, чтобы сунуть вкусный кусочек самым маленьким, да и себе чуточку отломить. Поймав взгляд Чолли, Дубок поманил его: «Иди сюда, парень, давай вместе полакомимся».

Старик и мальчик уселись рядышком на траву и разделили сердцевину арбуза, но Чолли казалось, что он глотает противно-сладкие внутренности земли.

* * *

Была весна, какая-то особенно промозглая, когда тетушка Джимми умерла «от пирога с персиками». Она поехала за город на церковный пикник, и случилась гроза с дождем. Сидеть на мокрых деревянных скамьях старушке было совсем ни к чему, вот она и раскисла. Четыре или даже пять дней она очень плохо себя чувствовала. Приятельницы то и дело заходили ее навестить. Одни готовили ей ромашковый чай, другие натирали целебной мазью, а мисс Элис, ближайшая подруга Джимми, читала ей Библию. Но тетушке становилось все хуже. Советы доброжелателей были весьма многочисленны и столь же проти-

воречивы. «Не ешь яичных белков». «Пей только парное молоко». «Пожуй этот корешок». Тетушка Джимми все советы игнорировала и соглашалась только слушать чтение мисс Эллис. Она сонно и одобрительно кивала, слушая слова Первого послания Коринфянам, монотонно звучавшие у нее над головой, и ласковое «аминь» то и дело слетало с ее губ; казалось, она чувствует, что очищается от грехов. Но тело тетушки Джимми на чтение Библии реагировать не желало, болезнь не отступала, и, наконец, было решено сходить за М'Диэр.

М'Диэр, тихая женщина, жившая в хижине на опушке леса, была опытной повитухой и весьма решительным диагностом. Мало кто смог бы вспомнить, чтобы она не пришла на помощь, если с какой-то болезнью не удалось справиться обычными средствами — привычными лекарствами, догадками, заботливым уходом и терпением. В таких случаях всегда говорили: «Надо сходить за М'Диэр».

Когда эта женщина появилась у тетушки Джимми, Чолли особенно потрясла ее внешность. Почему-то он был уверен, что М'Диэр окажется маленькой согбенной старушкой, покрытой морщинами; ведь говорили же, что она очень, очень

стара. Но она оказалась невероятно высокой, куда выше священника, который ее сопровождал. Ее рост наверняка превышал шесть футов. Седые волосы были скручены в четыре больших узла, что придавало особую значительность и силу мягким чертам ее очень черного лица. Она держалась удивительно прямо, как кочерга, а можжевеловая палка, похоже, была нужна ей вовсе не для поддержки, а для общения. М'Диэр слегка постучала ей об пол, глядя на сморщенное лицо тетушки Джимми, затем большим пальцем правой руки принялась поглаживать набалдашник трости, а левой рукой ощупывать тело тетушки. Завершив эту процедуру, тыльной стороной ладони М'Диэр коснулась щеки больной, затем положила ладонь ей на лоб и подержала немного, после чего приступила к изучению волос тетушки и пропустила их сквозь пальцы, а потом слегка поскребла череп и внимательно рассмотрела то, что осталось под ногтями. Затем взяла руку тетушки Джимми и осмотрела ее ногти, тыльную сторону ладони и саму ладонь, которую еще и помяла немного кончиками трех пальцев. Наклонившись, она долго выслушивала тетушку Джимми, прикладывая ухо то к ее груди, то к животу, и в итоге потребовала, чтобы из-под

кровати вытащили ночной горшок и показали содержимое. М'Диэр довольно долго разглядывала экскременты, постукивая палкой, потом велела женщинам:

— Закопайте этот горшок где-нибудь подальше вместе со всем содержимым. — И, повернувшись к тетушке Джимми, сказала: — Ты подцепила простуду, она у тебя в утробе поселилась. Пей только кипяченую воду и бульон, но ничего не ешь.

— А это пройдет? — спросила тетушка Джимми. — Я выкарабкаюсь?

— Думаю, да.

С этими словами М'Диэр повернулась и вышла из комнаты. Священник помог ей сесть в повозку и сам повез ее домой.

Уже к вечеру женщины нанесли в дом самых разнообразных бульонов — из черного горошка, листовой горчицы, цветной капусты, репы, свеклы и зеленых бобов. Принесли даже чашку сока от тушеной свиной головы. Через двое суток тетушка Джимми почувствовала, что сил у нее прибавилось. Ей явно стало лучше. Когда мисс Элис и миссис Гейнс заглянули, чтобы ее проведать, то тоже сразу это заметили. Они втроем посидели немного, беседуя о разных постигших

их бедах и болезнях и о том, что и кому помогло исцелиться или облегчить недуг. Снова и снова они возвращались к болезни тетушки, к причинам, вызвавшим недомогание, и к тому, как его можно было избежать. Они дружно восхищались М'Диэр и тем, какие безошибочные диагнозы она всегда ставит. Их монотонные голоса сливались в тоскливую похоронную песнь о боли, становясь то громче, то тише, подчиняясь сложной гармонии, чуть подвирая на высоких нотах и неизменно следуя главной теме. Им были необычайно дороги всякие воспоминания о болезнях и боли. Облизываясь и прищелкивая языком, они с восторгом рассказывали о страданиях, которые выпали на их долю, — родовые муки, ревматизм, крупозное удушье, болезненные растяжения связок, радикулит, геморрой. Они не забыли и о тех малых увечьях и синяках, которые получали, крутясь по хозяйству среди вечно путавшейся под ногами малышни.

Но ведь когда-то и они были молоды. Когда-то и от их подмышек и бедер исходил волнующий сладостный запах мускуса, глаза их лукаво блестели, губы были нежны, и прекрасен был изящный поворот головы на длинной гибкой черной шее, чем-то напоминавший движения горлинки. То-

гда и смех их был так легок, что казался скорее прикосновением, чем звуком.

А потом их юность миновала. Став взрослыми женщинами, они не входили в жизнь, а осторожненько протискивались в нее через заднюю дверь, не забывая одеться «прилично». Казалось, любой человек в мире имеет полное право им приказывать. Белые женщины требовали: «Сделай то и это». Белые дети кричали: «Подай мне вон то!» Белые мужчины подзывали: «Поди-ка сюда». Черные мужчины приказывали: «Ложись!» Единственными людьми, чьим приказам они не обязаны были подчиняться, были чернокожие дети и такие же, как они сами, чернокожие женщины.

Но они приняли все это и все по-своему переиначили.

Ведь на самом деле это они заправляли хозяйством в домах белых людей и прекрасно это понимали. Когда белые люди били их мужчин, они заботливо вытирали мужьям кровь, но дома получали от них оскорбления, а то и насилие. Казалось, они одной рукой безжалостно лупят собственных детей, а второй — беззастенчиво для них же крадут. Их руки, порой способные и дерево свалить, заботливо перерезали пуповину

родившемуся младенцу; их руки с легкостью сворачивали шею цыплятам, резали свиней и с нежностью ухаживали за африканскими фиалками, заставляя те цвести даже здесь, в чужом для них климате; их руки взваливали на спину тяжелые снопы, тюки и мешки и ласково прижимали к груди малышей, укачивая. Их руки взбивали тесто для пирожков до поистине воздушной невинности — и обряжали в саван покойников. Их руки целыми днями могли сжимать ручки тяжелого плуга, но дома становились нежными и теплыми, лаская тело мужа, жаждущего любви. И ноги их с той же силой сжимали бока оседланных мулов, что и бедра оседланных мужчин. И особой разницы между всеми этими действиями они никогда не ощущали.

А потом они стали старыми. Одряхлели их тела, мускусный запах стал кислым. Но они по-прежнему — сидя на корточках в зарослях сахарного тростника, низко склоняясь над хлопком в поле и на коленях полоская в реке белье — несли у себя на голове целый мир, словно некий огромный тюк. Да, в молодости им порой приходилось забывать о родных детях, зато они заботливо возились с внуками. С облегчением они снимали «приличную» одежду, повязывали голову какой-нибудь

тряпкой, перетягивали груди мягкой фланелью и давали отдых натруженным ступням, сунув их в фетровые тапки. Они были до предела истерзаны мужской похотью и бесконечным грудным вскармливанием и давно переступили тот порог, за которым нет ни слез, ни страха. Теперь они запросто могли и в одиночку пройти пешком хоть по дорогам Миссисипи, хоть по улочкам Джорджии, хоть по полям Алабамы, и никакой мужчина к ним не пристал бы. Они были достаточно стары, чтобы порой проявлять раздражительность, и были достаточно утомлены жизнью, чтобы спокойно ждать смерти; они утратили интерес к боли как таковой, а присутствие боли в себе старались игнорировать. Наконец-то они оказались действительно свободны. И вся та жизнь, которую прожила каждая из этих старых чернокожих женщин, сосредоточилась в их глазах — трагедия и юмор, зловредность и безмятежность, правда и фантазия.

Старухи проболтали допоздна. Чолли слушал-слушал, но не выдержал: ему все сильней хотелось спать, и он, убаюканный этой бесконечной колыбельной печали и горя, затих и стал проваливаться в сон, сквозь дрему все еще чувствуя отвратительную вонь тетушкиного

ночного горшка. Но во сне эта вонь сменилась здоровым запахом конского навоза, а голоса трех старух стали звучать совсем тихо и слились в приятное пение губной гармоники. Даже во сне Чолли понимал, что спит, свернувшись клубком в кресле и для тепла сунув руки между ляжками. Но снилось ему, что его пенис превратился в можжевеловую палку М'Диэр и она ласкает его своими длинными пальцами.

Дождливым субботним вечером, когда тетушка Джимми еще недостаточно окрепла, чтобы встать с постели, ее зашла навестить Эсси Фостер и принесла к чаю нежный пирог с персиками. Старушка съела кусок пирога, а на следующее утро, когда Чолли заглянул к ней, чтобы вылить горшок, она уже была мертва. Слегка приоткрытый рот тетушки Джимми был похож на кривенькую букву «О», а ее руки с длинными пальцами и твердыми, почти мужскими ногтями спокойно лежали поверх простыни и выглядели на редкость изящными. Один ее глаз смотрел прямо на Чолли, словно говоря: «Ты поаккуратней с моим горшком, мальчик». Чолли уставился на Джимми, как завороженный, и никак не мог заставить себя подойти к ней, пока не заметил, что какая-то наглая муха уселась в угол ее рта.

Мальчик замахал руками, прогнал муху, снова посмотрел на тетушку Джимми и аккуратно сделал то, чего требовал от него открытый, но мертвый глаз.

Похороны тетушки Джимми были первыми, на которых Чолли присутствовал. А поскольку он был членом семьи покойной и понес тяжкую утрату, то ему уделялось, пожалуй, даже слишком много внимания. Женщины вычистили и проветрили дом, известили всех о предстоящих похоронах и сшили для тетушки Джимми одежду, которая, с точки зрения Чолли, больше всего была похожа на белое подвенечное платье — собственно, это и было платье невесты-девственницы для встречи с Иисусом. Женщины даже для Чолли раздобыли темный костюм, белую рубашку и галстук. А муж одной из них аккуратно его подстриг. Чолли прямо-таки купался в ласке и нежности, которыми одаривали его соседи. Правда, никаких бесед о дальнейшей жизни никто не вел; все обращались с ним как с ребенком и не приглашали поучаствовать в своих взрослых разговорах, зато старались предвосхитить чуть ли не каждое его желание. Как по волшебству перед ним появлялись разные кушанья, горячая вода в деревянной лохани, аккуратно разложенная на постели

одежда. Во время бодрствования у гроба он уснул, будить его не стали, и кто-то на руках отнес его в кровать. И лишь на третий день после смерти тетушки Джимми Чолли наконец позволили присутствовать на общих обсуждениях в качестве главного персонажа. На похороны съехалась вся родня тетушки Джимми, проживавшая в близлежащих городах и на фермах. Приехал ее брат О.В. с женой и детьми, а также множество двоюродных и троюродных родственников. Но в центре внимания неизменно оказывался Чолли — ведь он был «мальчиком Джимми, последним, кого она любила в жизни» и «тем самым, кто ее в то утро нашел». Женщины всячески проявляли свое участие, мужчины гладили его по голове, и все это Чолли было приятно, а их тихие разговоры его прямо-таки завораживали.

— От чего ж она умерла-то?

— Да от пирога с персиками, который Эсси испекла.

— Да ты что?

— Точно тебе говорю. Она уж и на поправку пошла, я как раз накануне к ней заходила. Она просила черных ниток ей принести — что-то ей там для мальчика починить нужно было. Мне бы сразу догадаться, почему она черных ниток

просит. Все знают, какой это знак.

— Это верно.

— Помнишь, Эмма точно так же все черных ниток просила? А тем же вечером замертво упала.

— Так ведь Джимми и у меня эти нитки просила! Все напоминала. Я уж хотела ей свою начатую катушку отдать, да она не взяла и новую катушку потребовала. Ну, я с утра Малышку Джун за нитками и послала, откуда ж мне было знать, что Джимми уже мертвая лежит. А я уж к ней собралась — с этими нитками да еще сладкого мяса для нее прихватила. Ты же знаешь, как она сладкое мясо любила.

— Да уж, всегда прямо-таки набрасывалась на него. Вы ведь с ней добрыми подругами были.

— Были, да. В общем, только я одеться успела, а тут Салли прибегает и кричит, что Чолли только что к мисс Элис примчался и сказал, будто Джимми умерла. Меня точно обухом по башке стукнуло, точно тебе говорю.

— А Эсси-то каково теперь? Она, должно быть, распоследней убийцей себя чувствует.

— Господи, да уж я пыталась ее уговаривать, говорила: «Господь дал, Господь и взял». Тут и сомневаться нечего — никак она в смерти Джимми не виновата. А пироги с персиками она всегда

замечательные пекла. Но Эсси ничего и слушать не хочет, все твердит, что это ее пирог виноват, и я, честно говоря, подозреваю, что она права.

— А все ж не стоит ей так из-за этого убиваться. Она ведь сделала то же, что и любая из нас на ее месте.

— Это верно, ведь и сладкое мясо, которым я Джимми угостить хотела, могло то же самое сотворить.

— Вряд ли. Сладкое мясо чистое. А вот пирогами кормить того, у кого живот не в порядке, — это хуже не придумаешь. Удивляюсь я, как сама-то Джимми не сообразила, что пирогов ей никак нельзя?

— Может, и сообразила, да все равно не смогла отказаться. Вот и решила попробовать, чтобы Эсси не обидеть. Сама знаешь, какая у нас Джимми была добрая да хорошая.

— Еще бы! Она что-нибудь оставила?

— Ничего! Даже носового платка! А дом каким-то белым из Кларксвилла отойдет.

— Да ну? А я-то считала, что она его законная владелица.

— Может, когда и была, да только он давно уж ей не принадлежит. Я слышала, как страховщики с ее братом говорили.

— И сколько ж он теперь стоит?

— Восемьдесят пять долларов, как я слышала.

— Всего-то? А договориться она никак не могла?

— Никак. А тут еще похороны. Когда мой отец в прошлом апреле помер, нам все обошлось в сто пятьдесят долларов. И мы, конечно, все уплатили, а как же иначе? Ну, родственники Джимми, небось, вскладчину нужную сумму собрать сумели. Кстати, этот тип из похоронного бюро, который чернокожих в землю кладет, тоже недешево обходится.

— Просто стыд и позор! Джимми ведь всю жизнь страховку платила.

— А то я не знаю!

— Ну а с мальчонкой что? Как с ним-то будет?

— Мамашу его, конечно, так найти и не сумели, и пока что брат Джимми собирается Чолли к себе забрать, Говорят, у него дом хороший. Туалет внутри и все такое.

— Это хорошо. Он, похоже, добрый христианин. Да и мальчонке мужская рука нужна.

— В котором часу похороны-то?

— В два. К четырем уж закопать должны.

— А поминки где устраивают? Я слышала, Эсси хотела, чтоб у нее.

— Не-а. У Джимми. Так ее брат решил.

— Народу, наверно, много соберется. Старую Джимми все любили. Да и в церкви будет ее не хватать.

Поминки служили разрядкой, взрывом веселья после оглушительных грозовых похорон. Они были похожи на разыгрываемую на площади трагедию, когда всякие спонтанно возникшие неувязки стараются незаметно распихать «по углам» устоявшейся издревле формы. В данном случае покойница играла роль трагической героини, а оставшиеся в живых — невинных жертв; здесь была и вездесущность божества, и строфа с антистрофой для хора, оплакивающего усопшую, со священником в качестве дирижера, и печаль по безвременно оборвавшейся жизни, и восхищенное удивление путями Господними, и восстановление порядка вещей, обеспеченное самой природой кладбища.

В итоге поминки превращались в некий праздник гармонии, связанный с принятием неизбежной телесной хрупкости человека, с радостью, что для покойного его жалкая нищая жизнь наконец завершилась. На поминках царили смех, чувство облегчения и какой-то странный, невероятный аппетит.

Чолли еще до конца не понял, что тетушка Джимми умерла насовсем. Всё было так интересно. Даже на кладбище он не испытывал никаких чувств, кроме любопытства, а когда в церкви подошла его очередь подойти и попрощаться с покойницей, он невольно протянул руку и коснулся трупа, желая проверить, действительно ли он, как все говорят, «холодный как лед». Впрочем, он тут же руку и отдернул. Тетушка Джимми выглядела такой отдельной ото всех, что ему показалось неправильным как-то нарушить эту ее отдельность. С сухими глазами он попятился к своему месту на скамье, хотя все вокруг проливали слезы и жалостливо удивлялись, почему он-то не плачет, ведь надо бы, ведь так легче.

Вернувшись домой, Чолли наконец почувствовал свободу и смог присоединиться к всеобщему веселью; он и впрямь почти наслаждался происходившим вокруг, этим странным духом карнавала. Он с аппетитом, даже, пожалуй, с жадностью, поел и почувствовал в себе достаточно сил, чтобы попробовать познакомиться со своими родственниками поближе. Правда, по мнению взрослых, это еще вопрос — действительно ли они его родственники, поскольку брат тетушки Джимми, О.В., ей только сводный, как

и та сестра, дочерью которой была мать Чолли; только сестра — от второго брака отца Джимми, а брат — от первого.

Один из этих так называемых кузенов очень заинтересовал Чолли. Паренек был, правда, чуть постарше — на вид лет пятнадцати-шестнадцати. Выйдя из дома, Чолли сразу его заметил: вместе с другими подростками он стоял возле большого бака, в котором тетушка Джимми обычно кипятила белье. Набравшись смелости, Чолли подошел и небрежно бросил: «Привет!» Ребята тоже с ним поздоровались, а «кузен», которого, как выяснилось, звали Джейк, даже предложил ему сигарету-самокрутку. Сигарету Чолли взял, но здорово всех насмешил, когда вместо того, чтобы сунуть ее в рот и прикурить, зажал в руке и, отставив от себя подальше, поднес кончиком к горящей спичке. Ребята заржали, а Чолли, вспыхнув от стыда, швырнул сигарету на землю, чувствуя, что теперь должен сделать нечто особенное, чтобы восстановить свою репутацию в глазах Джейка. И тут Джейк поинтересовался, нет ли у Чолли знакомых девушек. «Конечно, есть!» — с готовностью воскликнул тот. Все его знакомые девушки присутствовали на поминках, и сейчас небольшая группка торчала на заднем

крыльце у перил, красуясь друг перед другом новыми платьями. Среди них, разумеется, была и Дарлин, но Чолли очень надеялся, что Джейк ее не выберет.

«Давай прихватим парочку и прогуляемся», — предложил ему Джейк, и они решительно направились к крыльцу. Чолли не знал, с чего и начать, а Джек как ни в чем не бывало уселся верхом на шаткие перила крыльца и уставился в пространство, словно девушки его вовсе не интересуют. На самом деле он, во-первых, давал девчонкам возможность хорошенько рассмотреть их обоих, а во-вторых, сам успел незаметно оценить каждую. Девушки тоже вовсю притворялись, будто не замечают Джейка и Чолли, и продолжали болтать, хотя вскоре девчачья болтовня стала приобретать более острый характер: мягкое подшучивание над мальчишками сменилось самыми настоящими сучьими укусами. Собственно, именно этого Джейк и добивался: девушки стали активно на него реагировать, почувствовали в нем мужчину и теперь соревновались, кто первая завоюет его внимание.

Пора. Джейк спрыгнул с перил и подошел к девчонке по имени Зуки, насмешки которой показались ему наиболее злыми. «Ну что, может,

покажешь мне окрестности?» — спросил он у нее без улыбки, и Чолли затаил дыхание: он был уверен, что острая на язык Зуки сразу посоветует Джейку заткнуться. Отшивать поклонников она здорово умела. Однако, к невероятному удивлению Чолли, Зуки охотно согласилась пройтись, да еще и ресницы скромненько так опустила. Чолли сразу почувствовал себя увереннее и, повернувшись к Дарлин, предложил: «Давай тоже прогуляемся, а? Недалеко, мы с Джейком просто хотели в овраг заглянуть». Он был уже готов к тому, что Дарлин просто язык ему покажет или скажет «Нет», или «Это еще зачем?», или еще что-нибудь в этом роде. Если честно, он испытывал в основном страх — страх, что не понравится ей, и страх, что вдруг все-таки понравится. Неожиданно его второй страх материализовался: Дарлин улыбнулась и спрыгнула к нему с крыльца. Но посмотрела с таким искренним состраданием, что Чолли сразу вспомнил: он ведь тетушку Джимми похоронил и понес тяжкую утрату.

— Хорошо, давай погуляем, если хочешь, — сказала Дарлин, — только действительно недолго. Мама сказала, что нам надо пораньше уйти, а то уже темнеет.

Они вчетвером побрели прочь от дома, и к

крыльцу тут же подошли несколько других парней, в свою очередь собиравшихся начать отчасти равнодушный, отчасти отчаянный танец юных петушков. А Зуки, Джейк, Дарлин и Чолли, пройдя задними дворами, вскоре вышли в поле, пробежали через него и оказались в овраге — сухом русле реки, окаймленном зеленью. Собственно, основной целью прогулки был росший в овраге дикий виноград мускатного сорта. Виноград был еще незрелый, жесткий, кисловатый, но они все равно с удовольствием его ели, пребывая пока что в том возрасте, когда нет сил дождаться, чтобы виноград наполнился темным соком и стал нежным на вкус. Всякое сдерживание себя, всякое обещание сладости, которую еще нужно извлечь, разжевав недозрелую ягоду, возбуждало мальчишек куда сильнее, чем это сделал бы зрелый виноград. Наконец, почувствовав на зубах оскомину, Чолли и Джейк перестали есть и принялись обстреливать виноградом девочек. Их тонкие гибкие черные запястья так и мелькали в воздухе, ведя непрерывный обстрел. Вскоре эта забава увела Чолли и Дарлин куда-то в сторону от виноградника, и когда они остановились, чтобы перевести дыхание, Джейка и Зуки уже нигде не было видно. Белое хлопчатобумажное платьице

Дарлин было все перепачкано виноградным соком. Большой синий бант в волосах развязался, и концами лент играл закатный ветерок. Оба запыхались во время «обстрела» и с наслаждением плюхнулись на зеленую с проблесками пурпура траву на опушке сосняка.

Чолли, тяжело дыша, перевернулся на спину, чувствуя во рту вкус недозрелого муската и слушая, как шумят сосновые ветви в предвкушении дождя. В воздухе и впрямь пахло дождем. Этот запах, смешиваясь с ароматами сосновой хвои и раздавленного винограда, вызывал легкое головокружение. Солнце уже почти село, как бы втянув в себя свои длинные светлые лучи. Всходила луна, и Чолли повернул голову, чтобы на нее посмотреть, увидел рядом с собой Дарлин, окутанную волшебным лунным светом. Она сидела, подобрав согнутые колени, обхватив их руками и положив на них голову. Чолли были видны ее штанишки и крепкие юные ляжки.

— Нам, наверно, пора возвращаться, — неуверенно промямлил он.

— Наверно. — Дарлин уселась, вытянув ноги, и принялась перевязывать свой бант. — Мама точно меня выпорет.

— Ну что ты, не станет она тебя пороть.

— Да точно. Она же меня предупредила: если я испачкаю платье, то порки мне не избежать.

— Но ты же ничего не испачкала!

— Ну да! А это ты видел?

Она бросила ленту и обеими руками разгладила платье на подоле, где пятен от виноградного сока было больше всего. Чолли искренне ей посочувствовал, понимая, что испачканное платье — это в значительной степени и его вина. Только сейчас он вдруг окончательно понял, что тетушки Джимми больше нет и его-то пороть больше некому. Он даже немного загрустил из-за этого. Сейчас ему некого было бояться, а выпороть его мог разве что дядя О.В., но ведь и он тоже понес тяжкую утрату.

— Дай-ка я попробую, — сказал Чолли и, встав на колени лицом к Дарлин, попытался завязать скользкую упругую ленту. А Дарлин вдруг сунула руки ему под расстегнутую рубашку и погладила его по влажной коже. Он удивленно на нее посмотрел. Она тут же убрала руки и рассмеялась. Он тоже улыбнулся и продолжил возиться с бантом. Но она снова сунула руки ему под рубашку, и он попросил: — Сиди-ка тихо, иначе я никогда этот бант не завяжу.

Однако на этот раз Дарлин рук не убрала, а по-

щекотала ему ребра. Чолли невольно захихикал, выпустил ленту и обхватил себя руками. А уже через мгновение оба потеряли голову. Дарлин буквально ввинчивалась ему под одежду. Он отвечал тем же и сперва все глубже зарывался в вырез ее платья, а потом и под платье залез. Но, когда он сунул руку ей в штанишки, смеяться она вдруг перестала, лицо у нее стало серьезным, и он, перепугавшись, хотел было убрать руку, но она неожиданно его удержала, схватив за запястье. Теперь он беззастенчиво обследовал ее тело обеими руками, а она покрывала его лицо и губы поцелуями, но ему казалось, что ее липкие от виноградного сока губы только отвлекают его. Потом Дарлин отпустила его голову, приподнялась немного и сама стащила с себя трусики. У Чолли, правда, возникли некоторые затруднения с пуговицами на новых брюках, но он все же сумел спустить брюки до колен. Их полудетские тела вдруг обрели для них новый, значительный смысл. Да и все остальное тоже оказалось не так сложно, как он себе представлял. Дарлин слегка застонала, но возбуждение, скопившееся у Чолли внутри, заставило его закрыть глаза и обращать внимания на ее стоны не больше, чем на шум сосен над головой. В тот момент, когда Чолли

понял, что внутри него вот-вот произойдет какой-то взрыв, Дарлин вдруг громко вскрикнула и застыла. Он решил, что сделал ей больно, и приподнял голову и увидел, что Дарлин смотрит куда-то поверх его плеча и взгляд у нее совершенно безумный.

Резко обернувшись, Чолли увидел двоих мужчин. У одного в руках был карманный фонарик, у другого — чуть ли не керосиновая лампа. Разумеется, оба были белые; впрочем, Чолли это сразу по запаху почувствовал. Он попытался встать на колени, потом на ноги и натянуть штаны — все одним движением, — но у него не получилось. У обоих мужчин были длинные ружья. Один из них язвительно засмеялся: «Хи-хи-хи-а-кха-кха-кха…», и его смешок быстро сменился приступом астматического кашля. Второй направил луч фонарика на Чолли и Дарлин и крикнул:

— Ну что ж ты, ниггер, продолжай!

— Что продолжать, сэр? — спросил Чолли, тщетно пытаясь застегнуть пуговицы на брюках.

— Дело свое продолжай, да смотри, делай все хорошо, слышишь? Старайся, негр, старайся.

Чолли просто не знал, куда глаза девать. Его взгляд лихорадочно метался в поисках убежища, но тело застыло, словно парализованное. Человек

с фонариком снял с плеча ружье, и Чолли, услышав отчетливый металлический щелчок, снова упал на колени. Дарлин на него не смотрела; по-прежнему лежа на спине, она повернула голову набок и уставилась куда-то в окружавшие их потемки; вид у нее был такой, словно она не имеет никакого отношения к тому, что с ними сейчас происходит. И Чолли с неожиданной грубостью — которая была следствием его полнейшей беспомощности — как можно выше задрал на Дарлин платье, а с себя снова спустил и брюки, и трусы.

— Хи-хи-хи-хи-хи-хи.

Дарлин даже лицо руками закрыла, когда Чолли весьма неудачно начал симулировать те движения, которые вполне успешно совершал до появления белых мужчин. Но сейчас он был в состоянии только притворяться. Ему было нужно как-то заставить тех двоих поверить, что он занимается с Дарлин сексом по-настоящему. Фонарик светил ему прямо в задницу, высвечивая на ней кружок, чем-то похожий на луну.

— Хи-хи-хи-хи… Быстрей, негр, быстрей! Ей же от тебя удовольствия ни на грош. Хи-хи-хи-хи.

Чолли стал двигаться быстрее, то и дело поглядывая на Дарлин. Сейчас он ее попросту ненавидел. Ненавидел так сильно, что даже хотел

бы сделать все как можно грубее — пусть бы ей стало очень больно. Ему казалось, что свет проклятого карманного фонарика просочился ему куда-то внутрь, превратив сладкий виноградный сок в горькую вонючую желчь. Дарлин по-прежнему закрывала руками лицо, и под луной в свете карманного фонарика ее пальцы казались Чолли похожими на когти детеныша какого-то крупного хищника.

— Хи-хи-хи-хи…

Где-то вдруг завыли, залаяли собаки.

— О, вот и они! Точно! Узнаю старушку Хани!

— Угу, — откликнулся второй с нелепой керосиновой лампой. — Ладно, пошли.

Тот, с фонариком, отвел, наконец, луч света с задницы Чолли и свистнул, подзывая, видимо, «старушку Хани».

— Погоди, — сказал ему второй, — негр-то ведь еще не кончил.

— Ничего, в другой раз кончит. Удачи тебе, малек черномазый.

И они двинулись прочь, хрустя сосновыми иглами. Еще довольно долго было слышно, как они свистят, подзывая собак, а те отвечают, но уже не воем, а радостным возбужденным тявканьем.

Чолли выпрямился и в полном молчании стал

застегивать брюки. Дарлин даже не пошевелилась. Чолли очень хотелось ее придушить, но он лишь коснулся ногой ее ступни.

— Вставай, вставай, девчонка! Ну же! — Дарлин с закрытыми глазами попыталась нашарить свои трусики, но не нашла, и они оба принялись искать их при свете луны. Наконец она их обнаружила и надела, но двигалась при этом, как дряхлая старуха.

Выйдя из соснового леса, они направились к дороге — Чолли впереди, Дарлин, еле переставляя ноги, сзади. Пошел дождь. «Это хорошо, — тут же подумал Чолли, — сразу всем станет ясно, почему мы такие грязные и мокрые».

Во дворе, где проходили поминки, оставался еще добрый десяток гостей. Джейк куда-то исчез, Зуки тоже видно не было. Кое-кто из оставшихся то и дело подкладывал себе угощенье — картошку, рис, бараньи ребрышки. Все были поглощены увлекательным разговором, свойственным раннему вечеру, о снах, привидениях и предчувствиях. Их миролюбивое спокойствие было вызвано алкоголем, способствовавшим воспоминаниям и выдумкам. На запоздалое появление Чолли и Дарлин они практически не прореагировали. Даже мать Дарлин не выказала ни тревоги,

ни гнева — видно, тоже слишком много съела и выпила.

— Небось, промокла насквозь? Иди-ка сюда, девочка моя. По-моему, я тебя предупреждала… — Туфли матери Дарлин валялись под стулом, боковые застежки на платье были расстегнуты.

Кое-кто из гостей высказал предположение, что стоит немного подождать — может, дождь кончится или немного ослабеет. Но те, кто приехал в крытых повозках, все же решили, что лучше двинуться в путь сейчас, пока дождь не разошелся вовсю. Чолли сразу прошел в бывшую кладовку, которую тетушка давно переделала для него в маленькую комнатку. Увы, на его кушетке мирно спали три младенца. Он снял мокрую одежду — виноват был не только дождь, но и та вода, что стекала с сосновых ветвей, — и надел старый комбинезон, пытаясь определить, куда сейчас можно было бы пойти, чтобы хоть немного поспать. Только не в спальню тетушки Джимми! Об этом и речи быть не могло. И потом, ее наверняка собираются занять дядя О.В. и его жена. Чолли достал из сундука какое-то одеяло, расстелил на полу и лег. На кухне кто-то варил кофе, и Чолли вдруг тоже остро захотелось горячего кофе, и сразу после этой мысли он крепко уснул.

Весь следующий день был полон хлопот: чистка и уборка помещения, подведение счетов и распределение добра тетушки Джимми. У всех углы рта были скорбно опущены, глаза туманились слезой, ноги ступали осторожно и тихо.

Чолли бесцельно слонялся по дому, время от времени выполняя чьи-то несложные поручения. Вся его слава понесшего тяжкую утрату, все тепло, которым взрослые дарили его накануне, теперь сменились резкостью, почти грубостью, что, впрочем, вполне соответствовало его настроению. Пережитое вечером продолжало его терзать; он все еще чувствовал свет карманного фонарика у себя на ягодицах, вкус недозрелого винограда на губах и руки Дарлин, скользящие по его телу. А когда ему удавалось ненадолго прогнать эти мысли, в голове сразу возникала странная пустота — такое ощущение бывает, когда тебе выдерут зуб: воспаленная десна еще помнит, каким он был гнилым, а язык уже невольно ощупывает освободившееся и еще немного жидковатое место, где раньше торчал зуб. Опасаясь наткнуться на Дарлин, Чолли старался не отходить далеко от дома, однако и атмосфера, царившая в комнатах покойной тетушки Джимми, была для него невыносима.

Ох уж это рытье в тетушкиных вещах, это обсуждение оставленного ею «состояния»! Мрачный, раздраженный, Чолли разжигал в себе ненависть к Дарлин. Но ему ни разу даже в голову не пришло направить свою ненависть на белых охотников. Нет, испытай он к ним подобное чувство, и сразу же почувствовал бы себя жалким, ничтожным червяком. Ведь это были взрослые белые мужчины с ружьями! А он был беспомощный чернокожий мальчишка. Хотя его подсознание знало то, о чем сознание даже не догадывалось, — ненависть к тем белым попросту сожрала бы его, сожгла бы ему душу, как кусок мягкого угля, оставив лишь хлопья сажи да дымок в виде вопросительного знака. Со временем Чолли предстояло открыть в себе эту ненависть к белым — но не сейчас. Ибо сейчас он испытывал лишь абсолютное бессилие, а вот в более поздние годы его ненависть сумела найти куда более приятный выход. Пока что вся его ненависть обрушилась на Дарлин, из-за которой и возникла эта чудовищная ситуация, которая стала свидетельницей его полного провала, его полного бессилия; которую он оказался не в состоянии защитить, укрыть от яркого, как сияние луны, света карманного фонарика, от этого про-

тивного «хи-хи-хи». Он вспоминал, как мокрая, так и не завязанная, лента Дарлин шлепала ее по лицу, когда они под дождем молча шли назад. Отвращение к себе и ненависть к ней терзали ему душу, заставляя дрожать всем телом. А поговорить было абсолютно не с кем. Старый Дубок в последнее время был постоянно пьян и мало что соображал. И потом, Чолли совсем не был уверен, что решился бы доверить старику свои сомнения. Чтобы рассказать все Дубку, именовавшему себя «убийцей женщин», Чолли наверняка пришлось бы немного приврать. Ему казалось, что быть просто одиноким намного лучше, чем неожиданно остаться одному.

В тот день, когда был назначен отъезд дяди О.В., и все было уже упаковано, и откипели все жаркие споры из-за того, кому что достанется, превратившись в нечто вроде липкой подливки из сока жаркого, Чолли сидел на заднем крыльце и ждал. Вдруг его осенило: а ведь Дарлин запросто может оказаться беременной! Это была абсолютно иррациональная, дикая, невесть откуда взявшаяся мысль, но Чолли тем не менее охватил страх. И он решил немедленно бежать.

Да, думал он, я должен немедленно это сделать, и совершенно не важно, что сегодня дядя соби-

рается увезти меня к себе. Во-первых, расстояния между здешними городками настолько малы, что преодолеть их ничего не стоит; во-вторых, дядя ему не понравился — почему-то Чолли ему не доверял, — и в третьих, мать Дарлин в случае чего сможет запросто его отыскать в дядином доме, а дядя наверняка с удовольствием отдаст его на растерзание. Чолли прекрасно понимал, как это нехорошо — бросить беременную девчонку и сбежать. И тут же вдруг вспомнил — как ни странно, с сочувствием, — что его отец именно так в свое время и поступил. Что ж, теперь он его понимал. И ему пришла в голову вторая «гениальная» мысль: он непременно должен найти отца. Отец-то уж точно его поймет. Чолли помнил, что, по словам тетушки Джимми, отец вроде бы уехал в Мэйкен. И Чолли, имея в голове мыслей не больше, чем у только что вылупившегося цыпленка, решительно шагнул с крыльца.

Он уже успел немного пройти, когда вспомнил о сокровище; ведь тетушка Джимми давно уже кое-что ему оставила, а он об этом совсем позабыл. В дымоходе кухонной плиты, которой давно уже не пользовались, тетушка спрятала мешочек из-под муки, в котором, как она говорила, хранилось ее «сокровище». Чолли вернулся, незаметно

проскользнул в дом и обнаружил, что на кухне никого нет. Покопавшись в дымоходе, он вытащил клубок паутины, комки слежавшейся сажи и, наконец, маленький мягкий мешочек. Денег было не очень много, и он пересчитал их: четырнадцать долларовых купюр, две двухдолларовых и много серебряной мелочи… В целом оказалось двадцать три доллара; этого, конечно же, должно было вполне хватить, чтобы доехать до Мэйкена. Как хорошо, как сильно это звучало — Мэйкен!

Убежать из дома чернокожему мальчику из Джорджии особого труда не составляет. Надо просто потихоньку выскользнуть из дома и идти. Когда наступит ночь, можно устроиться на ночлег в каком-нибудь амбаре или сарае, если, конечно, во дворе нет собак; а можно и на кукурузном поле или в пустой лесопилке. Есть, правда, приходится что попало и покупать в деревенских лавчонках дешевое пиво и лакричные леденцы, держа наготове историю о постигшем тебя великом горе, — это если кто-то из чернокожих взрослых заинтересуется; а белым и вовсе на тебя наплевать, хотя есть, конечно, такие, что ищут развлечений.

Когда через несколько дней Чолли понял, что оказался уже довольно далеко от родного дома, он

немного осмелел и теперь вполне мог подойти, например, к задней двери какого-нибудь симпатичного домика и спросить у черной кухарки или у белой хозяйки, нет ли у них какой-нибудь работы — выполоть сорняки, вскопать землю, собрать овощи или фрукты, вымыть или вычистить помещение, — обязательно упомянув, что живет неподалеку. Задержавшись таким образом на неделю, а то и больше, в каком-то одном месте, он обретал возможность двигаться дальше. Так он прожил до конца лета и лишь в октябре добрался до города, который оказался достаточно крупным, чтобы иметь собственный автобусный вокзал. Чолли был в восторге; с пересохшим от волнения ртом он подошел к кассе для цветных и спросил:

— Сколько стоит билет до Мэйкена, сэр?

— Одиннадцать долларов для взрослых. Пять пятьдесят для детей до двенадцати лет. — В кармане у Чолли было двенадцать долларов и четыре цента. — Тебе сколько лет?

— Мне уже скоро двенадцать, сэр, но мама дала мне только десять долларов.

— Что-то ты уж больно велик для неполных двенадцати лет. А ты не врешь, пацан?

— Нет, сэр, пожалуйста, сэр, мне очень надо в

Мэйкен! У меня мама заболела.

— По-моему, ты только что сказал, что мать дала тебе десять долларов?

— Это мне моя ненастоящая мама дала. А настоящая моя мама в Мэйкене, сэр.

— Думается, я всегда сразу вижу, врет мне ниггер или не врет. У них это на физиономии написано. Но я, пожалуй, все-таки сделаю вид, будто тебе поверил, — вдруг это тот исключительный случай, когда такой маленький мошенник, как ты, не солгал и одна из твоих мам — настоящая или нет — действительно умирает и хочет перед встречей с Создателем повидать своего шалуна.

Чолли, разумеется, все это пропустил мимо ушей. Оскорбления и недоверие давно уже стали для него всего лишь привычными жизненными неудобствами вроде блох. Таким счастливым, как сейчас, он чувствовал себя лишь однажды — во время той истории с арбузом, когда им с Дубком досталась вся сладкая сердцевина. До отправки автобуса оставалось еще часа четыре, и минуты, составлявшие эти часы, жужжали, точно оводы на липучке — медленно умирая, измученные своими попытками вырваться на свободу. Чолли просто с места сойти боялся, не решился даже отойти в сторонку, чтобы облегчиться перед

отъездом: вдруг автобус тронется с места, а его не будет? Ему очень нужно было в уборную, но он так никуда и не пошел. Со вздутым животом он погрузился в нутро автобуса, идущего в Мэйкен, и устроился замечательно: на заднем сиденье у окна. Теперь он был полностью предоставлен самому себе; Джорджия поплыла у него перед глазами, а он жадно смотрел и смотрел в окно, пока солнце совсем не погасло. Но и в темноте он все продолжал смотреть в окно, борясь со сном, и эта яростная схватка закончилась тем, что он все-таки уснул. А когда проснулся, день уже был в полном разгаре, и какая-то толстая тетка сунула ему галету с холодным беконом. Вкус этого бекона Чолли чувствовал, даже когда они уже въехали в Мэйкен.

В конце переулка он увидел множество мужчин, собравшихся в гроздья, как виноград.

Чей-то мощный веселый голос то и дело спиралью взмывал над согнутыми спинами. Кто-то сидел, согнувшись, кто-то стоял на коленях, низко наклонив голову, но взоры всех были устремлены к одной и той же точке на земле. Когда Чолли подошел ближе, его сразу окутал знакомый бодрящий мужской запах. Все эти мужчины собрались здесь, как пояснил ему человек в зале,

где делались ставки и заключались пари, ради игры в кости и возможности выиграть. Каждый из них украсил себя чем-то зеленым, приманивая деньги. Некоторые обернули купюрами пальцы и сжали пальцы в кулаки, так что наружу торчали лишь края купюр, похожие на некий изысканный кастет. Другие, собрав деньги в пачечку, сдвинули их к середине, но бдительно следили за своей «колодой», словно собирались в карты играть. А у кого-то деньги и вовсе торчали отовсюду в виде непонятных комков. У одного, например, из-под кепки. А его сосед просто держал свои купюры в руках, поглаживая их большим и указательным пальцами. В его черных руках было сейчас больше денег, чем Чолли когда-либо доводилось видеть, и он вдруг почувствовал, что разделяет волнение игроков. У него даже во рту пересохло — и от волнения, и от осознания того, что среди этих людей он вполне может прямо сейчас встретиться со своим отцом. Он то и дело нервно сглатывал, глядя то на одно лицо, то на другое, выискивая того, кто мог бы им оказаться. А все-таки как же его узнать? Вряд ли он будет похож просто на увеличенную версию самого Чолли. Хотя сейчас Чолли, пожалуй, и вспомнить бы не смог, как сам выглядит. Помнил только,

что ему четырнадцать лет, он чернокожий и очень высокий, почти шести футов ростом. Он жадно рассматривал лица мужчин, но видел только глаза — умоляющие, холодные, плоские от затаенной злобы или как бы окаймленные страхом, — и все эти глаза смотрели в одну точку, на пару костяных кубиков, которые кто-то подбрасывал в воздух, ловил и снова подбрасывал, что-то монотонно напевая при этом, и некоторые ему подпевали; а он еще и потирал кости, словно два горячих уголька, и что-то шептал им при этом. Затем кубики снова со свистом взлетали, и это сопровождалось хором изумленных и разочарованных возгласов.

Затем бросавший кубики стал собирать деньги, и кто-то крикнул ему:

— Бери, бери да уползай скорей! Ах ты, водяной пес, лучший из всех псов, каких я знаю! — Это вызвало смех, и напряжение несколько спало. Некоторые мужчины стали разменивать друг у друга деньги.

Чолли, дотронувшись до спины какого-то седого старика, спросил:

— Вы, случайно, не знаете, здесь поблизости нет Сэмсона Фуллера?

— Фуллера? — Это имя старику было явно зна-

комо. — Точно-то я тебе не скажу, да вроде тут он где-то. Да вон он! В коричневом пиджаке.

И старик указал Чолли на мужчину в светло-коричневом пиджаке, который, стоя в отдалении, разговаривал еще с каким-то типом и, похоже, с ним ссорился. Во всяком случае, они яростно жестикулировали, а лица обоих прямо-таки пылали гневом. Чолли кружил возле них, с трудом веря, что это конец его долгих странствий, ибо сейчас перед ним его отец. Он оказался самым обыкновенным мужчиной, но у Чолли, пожалуй, и впрямь были его глаза и рот, его форма головы. И он был настоящим — и широкие плечи, скрывавшиеся под светлым пиджаком, и голос, и руки. Он на самом деле существовал на свете! И Чолли прямо сейчас видел его перед собой! Он, правда, всегда представлял себе отца этаким великаном и был потрясен, ибо оказался значительно выше него ростом. А еще он обратил внимание на весьма заметную отцовскую плешь, и ему вдруг захотелось погладить отца по этой лысине. Чолли, как зачарованный, уставился на это достойное жалости пустое пространство, окруженное пучками густых, как шерсть, вьющихся волос, и мужчина, заметив его взгляд, резко к нему повернулся. Лицо у него было жест-

ким, разгоряченным схваткой.

— Тебе чего надо, парень?

— Э-э, я хотел… вы, случайно, не Сэмсон Фуллер?

— Тебя кто послал?

— Да я…

— Ты мальчишка Мельбы?

— Нет, сэр, я…

Чолли моргнул. Он никак не мог вспомнить имени своей матери. Да и знал ли он его вообще? Что он мог ответить этому человеку? Чей он мальчишка? Не мог же он заявить: «Я твой мальчишка»? Это прозвучало бы нагло и неубедительно.

А мужчина явно начинал терять терпение.

— У тебя что, голова совсем не варит? Кто тебя ко мне послал?

— Никто не посылал. — У Чолли даже руки вспотели. Его пугал взгляд этого человека. — Я просто подумал… Я хочу сказать… Я просто так тут вокруг ходил, ходил, и, хм… в общем, меня Чолли зовут…

Но Фуллер его бормотания уже не слушал; он вновь повернулся к группе игроков, поскольку игра вот-вот должна была начаться снова, и, наклонившись, бросил на землю купюру в ожи-

дании очередного подбрасывания костей. Когда купюра исчезла, он, весьма раздраженный, выпрямился и злобно заорал, глядя на Чолли:

— Ты передай этой суке, что деньги с меня она сполна получила! И все. И вали от меня к чертовой матери!

Чолли далеко не сразу сумел отлепить от земли словно примерзшие к ней ступни и хотя бы немного отступить. Лишь огромным усилием воли он заставил мышцы действовать, повернулся и побрел прочь по переулку навстречу тому ослепительному свету, каким сияла невдалеке большая улица. Выйдя на жаркое солнце, он почувствовал, как ноги его слабеют и подгибаются. Заметив на обочине заколоченный оранжевый ящик с картинкой в виде стиснутых в пожатии рук, он сел на него. Солнечный свет лился ему на голову медовой струей. Мимо проехала тележка торговца фруктами, торговец зазывал: «Только что с лозы сняли! Сладкий, как сахар, красный, как вино…» Где-то рядом слышалось цоканье женских каблучков; в подворотне сидели и смеялись какие-то бездельники. Было ясно, что поблизости ходит трамвай.

Чолли продолжал сидеть, зная, что, если не будет двигаться, все как-нибудь обойдется. Но

глаза все-таки обожгло слезами; ему пришлось изо всех сил сдерживаться, чтобы не зареветь в голос. И он продолжал сидеть в сочащемся медом потоке солнечных лучей, напрягая каждый нерв, каждый мускул в тщетных попытках остановить поток слез, лившихся из глаз. Поскольку все его силы до последней капли уходили на это, он не заметил, что его переполненный кишечник не выдержал, и понял, что обделался, лишь когда жидкий кал потек ему по ногам. Чолли охватил панический ужас. Прямо здесь, в начале переулка, где, возможно, находится его родной отец, где по широкой улице ходит толпа взрослых мужчин и женщин, он, сидя среди бела дня под ярким солнцем на каком-то оранжевом ящике, обкакался, как малый ребенок! Что же теперь делать? Может, так и сидеть здесь до темноты, не двигаясь? Нет. Вдруг отец, выйдя из переулка, заметит его и поднимет на смех? О господи! Ну, конечно же, отец будет над ним смеяться! И все остальные тоже. Значит, остается только один выход: поскорее убежать.

И Чолли бросился бежать по улице, сознавая лишь, что его окружает какая-то странная тишина. Люди открывали рты, что-то говорили, но он их не слышал; они куда-то шли, и ноги их

тоже двигались совершенно бесшумно; затем мимо беззвучно пронеслась какая-то машина; без малейшего стука рядом захлопнулась чья-то дверь. Да и собственных шагов Чолли не слышал. А воздух, казалось, пытался его удержать, сопротивлялся, душил, не позволял наполнить легкие. Чолли казалось, что он пробивается сквозь заполнившую весь мир невидимую сосновую смолу и вот-вот в ней захлебнется. Но, как выяснилось, он все же бежал — мимо безмолвных людей, мимо бесшумно движущихся предметов, — потому что наконец дома кончились, и перед ним возникло открытое пространство, а за ним — извилистая река Окмулги. Чолли скатился по каменистому берегу прямо к пирсу, торчавшему над мелководьем. Отыскав под пирсом самую густую тень, он присел на корточки за одним из столбиков и проторчал в этой почти эмбриональной позе достаточно долго, весь скрюченный, парализованный ужасом, прижимая к глазам стиснутые кулаки. Он ничего не видел и не слышал вокруг, ощущая лишь темноту, жар солнца и давление косточек пальцев на глазные яблоки. Он даже об изгаженных штанах позабыл.

Наступил вечер. Темнота, тепло и покой окутали Чолли. Казалось, он находится внутри темной

ягоды бузины, защищающей свое семя. Наконец он позволил себе слегка пошевелиться. Но собственного тела не чувствовал, чувствовал только боль в голове. Затем в памяти, точно блестящие осколки стекла, стали всплывать события сегодняшнего дня. Сперва он вспомнил денежные купюры, которые пересчитывали чьи-то черные пальцы, потом какой-то неудобный табурет, на котором вроде бы сидел, но, присмотревшись, понял, что это не табурет, а голова какого-то мужчины, и у него на голове — плешь размером с большой апельсин. Постепенно осколки воспоминаний и видений соединились в нечто относительно цельное, и Чолли все вспомнил. И только тогда почувствовал исходившую от него вонь. Он встал, держась за столбик пирса и чувствуя, что дрожит от слабости. Голова уже не только болела, но и сильно кружилась, так что он был вынужден еще немного постоять возле столбика. Затем, собравшись с силами, все же снял с себя штаны, трусы, носки и ботинки, выбрался на берег, несколько раз протер ботинки землей и снова пополз к воде. Было уже совсем темно, так что он был вынужден чуть ли не на ощупь определять, где кромка воды. Чолли долго и неторопливо возил свою одежду в воде, то и дело ее

переворачивая, потом тер ее песком и землей и снова возил в воде, пока ему не показалось, что теперь одежда более-менее чистая. Вернувшись к столбику под пирсом, он снял с себя рубашку и обмотал вокруг талии. Затем вышел на берег, расстелил на земле штаны и трусы и присел возле них на корточки, машинально ковыряя подгнившую древесину пирса. Ему вдруг вспомнилась тетушка Джимми, ее мешочек с асафетидой, который она постоянно носила на шее, ее четыре сверкающих золотых зуба и та пурпурная тряпка, которую она повязывала на голову как платок. С мучительной, разрывавшей душу тоской он вспоминал, как Джимми совала ему кусочки копченой свинины, вылавливая их из своей тарелки и неловко держа тремя пальцами. Сколько в этом было любви! Она не говорила ни слова — просто отнимала у себя то, что он больше всего любит, и отдавала ему. И он, вспомнив все это, вдруг почувствовал, как на него наваливаются горе и одиночество, и теперь слезы уже рекой полились у него по щекам и подбородку.

* * *

Три женщины высовываются из двух окон. Увидев внизу длинную чистую шею незнакомого

молоденького мальчика, подзывают его поближе. Он подходит. Потом заходит в дом и поднимается к ним. В квартире у них темно и тепло. Женщины угощают его лимонадом из банки с завинчивающейся крышкой. Он с наслаждением пьет прямо из банки и сквозь дно видит их глаза, словно всплывающие на поверхности липкого сладкого лимонада. Эти женщины возвращают ему веру в то, что он мужчина, и он принимает эту веру, сам не зная зачем.

Пожалуй, отдельные куски жизни Чолли способны обрести какую-то последовательность только в голове музыканта. Того, который разговаривает с людьми посредством своего изогнутого инструмента из золотистого металла, или касаясь черно-белых клавиш, или лаская пальцами туго натянутую шкуру барабана, или заставляя струны эхом откликаться в его душе; того, кто с помощью музыки способен придать жизни ее истинную форму. Только музыкантам известно, как соединить красную сердцевину спелого арбуза, мешочек с асафетидой на шее старой женщины, вкус незрелого дикого муската, яркий свет карманного фонарика, что светил Чолли прямо в зад, зажатые в кулаках купюры, лимонад из стеклянной банки и человека по

прозвищу Дубок — и, соединив все это, взбив, как тесто, эти ощущения радости, боли, гнева и любви, вызвать, наконец, последнюю всеохватывающую сладкую боль свободы. Только музыкант смог бы почувствовать, понять, даже не сознавая этого, что Чолли наконец обрел свободу. Опасную свободу. Свободу испытывать любое чувство — страх, вину, стыд, любовь, горе, жалость. Свободу быть нежным или грубым, свободу весело насвистывать или плакать. Свободу спать в подворотне или на белых простынях рядом с поющей женщиной. Свободу начать работу и свободу в любой момент ее оставить. Он мог бы отправиться в тюрьму, не чувствуя себя заключенным, потому что уже успел заметить особый, брошенный украдкой взгляд своего тюремщика; он был свободен и легко мог сказать: «Нет, сэр», и улыбнуться, потому что уже убил троих белых. Он мог свободно выслушивать оскорбления, которые выкрикивала ему женщина, потому что тело ее уже было им завоевано. Он вполне свободно мог и по голове ее ударить — хотя только что прижимал эту голову к своей груди и ласково баюкал. Да, он обрел полную свободу и мог быть с этой женщиной нежен, если она была больна, мог даже пол подтереть в ее квартире, потому что она

уже поняла, в чем его мужская сущность. А мог и напиться до чертиков, потому что уже станцевал свой «танец» на железнодорожных путях, тридцать дней укладывая шпалы вместе с группой каторжников, скованных одной цепью, и сам вытащил у себя из голени пулю, выпущенную в него женщиной. Он обрел свободу не только жить, следуя собственным фантазиям, но и умереть там и тогда, когда захочется ему самому, хотя пока что это было ему совершенно не интересно. Да, в те дни Чолли чувствовал себя по-настоящему свободным. Выброшенный матерью в мусорную кучу, отвергнутый отцом ради азартной игры — да ему, пожалуй, больше нечего было терять. Теперь он остался один на один с собой — со своими ощущениями, своим пониманием жизни, своим аппетитом и своими интересами, Теперь его интересовал только он сам.

И в таком вот состоянии, воспринимая себя почти как божество, Чолли познакомился с Паулиной Уильямс. И именно Паулина — точнее брак с ней — довершила то, с чем не сумел справиться даже свет карманного фонарика белого мерзавца.

Постоянство, однообразие, отсутствие каких бы то ни было вариаций — все это тяжким грузом

обрушилось на Чолли, приводя его в отчаяние, замораживая воображение. Необходимость всегда спать с одной и той же женщиной — да ему даже сама эта мысль казалась странной и неестественной; мало того, женщина еще и ожидала от него прежнего энтузиазма, хотя ему уже давно надоели ее старые уловки; нет, думал он, можно только удивляться ее беспечной наглости. Когда он в Кентукки впервые увидел Паулину, она торчала у изгороди, буквально повиснув на ней и стараясь лишний раз не утруждать искалеченную ногу. Ее аккуратность, очаровательная внешность и та радость, что вспыхнула в ней после знакомства с Чолли, сильно на него подействовали. Настолько сильно, что он вдруг захотел вить с ней гнездо. И даже не догадывался о том, что именно в итоге это желание уничтожит. Впрочем, на таких размышлениях он особенно не зацикливался. Гораздо больше его волновал другой вопрос: куда подевалось столь свойственное ему любопытство? Теперь ему все стало безразлично, ничто не интересовало. Ни он сам, ни другие люди. Какой-то просвет возникал порой, если хорошенько выпить, — что-то вроде разрывающего тьму света прожектора, — но вскоре этот недолговечный свет гас, и наступало полное забвение.

Но особенно его ошеломил, буквально лишив почвы под ногами, аспект супружеской жизни, связанный с рождением детей. Чолли не имел ни малейшего представления о том, как растить детей; его самого, лишенного родителей, никто никогда толком не воспитывал, и в этом отношении никакого опыта у него не было; кроме того, он просто не представлял себе, какими должны быть отношения родителей и детей. Если бы он стремился накопить состояние, дети могли его интересовать как грядущие наследники; если бы ему хотелось самоутвердиться в глазах недруга или общества, он мог приложить усилия к тому, чтобы дети во всем превзошли его самого — и тогда весь свет стал бы ими гордиться. До тринадцати лет Чолли не чувствовал себя в этом мире одиноким, хотя из близких у него была всего одна умирающая старая женщина, всегда чувствовавшая себя за него ответственной; однако и возраст тетушки Джимми, и ее женская сущность, и ее интересы были столь далеки от его собственных, что теперь ему никак не удавалось ощутить сколько-нибудь стабильную связь с собственными детьми. Нет, он, разумеется, как-то реагировал на их присутствие в его жизни, однако реакция эта всегда была основана на его сиюминутных

чувствах.

* * *

Так было и в тот весенний субботний день, когда в скудном свете раннего вечера Чолли, спотыкаясь, приплелся домой пьяный в стельку. Заглянув на кухню, он увидел там свою дочь, которая мыла посуду, низко нагнув над раковиной узкую детскую спинку. Впрочем, дочь Чолли видел довольно неясно, а уж что он в тот момент чувствовал, он и вовсе не сумел бы описать. Первое, что он почувствовал, — это, пожалуй, некий дискомфорт, даже неприязнь к девочке; затем это чувство сменилось чем-то довольно приятным. В общем, последовательность его эмоций была примерно следующей: отвращение, вина, жалость, любовь. Отвращение было вызвано беспомощностью Пиколы и какой-то безнадежностью ее позы — казалось, эта согбенная спина и склоненная чуть вбок голова только и ждут удара, не имея ни малейшей возможности от него уклониться. Господи, подумал Чолли, да почему же у нее вид всегда, как у побитой собаки? Ведь она обычный ребенок, никакими особыми заботами не обремененный, что ж она такой несчастной-то выглядит? Пикола и впрямь

казалась отверженной и крайне несчастной. Чолли воспринял это как обвинение, и ему сразу захотелось свернуть ей шею — но нежно свернуть, чтобы девчонке не было особенно больно. В душе его желчным дуэтом взвыли вина за несчастливую судьбу дочери и ощущение полной собственной неспособности что-либо в ней изменить. Что он, собственно, мог для нее сделать? Да и делал ли — хоть когда-нибудь? Что, например, он мог ей подарить? Что сказать? Что мог чернокожий мужчина с выжженной душой сказать, видя перед собой согбенную спину своей одиннадцатилетней дочери? Если бы он посмотрел ей в лицо, он бы увидел затравленные, но любящие глаза. Затравленный взгляд дочери вызвал бы у него раздражение — взгляд, полный любви, привел бы его в ярость. Да как она смеет его любить? Совсем, что ли, ума лишилась? И что ему теперь с этим делать? Как ответить на ее любовь? Как? Разве прикосновения его мозолистых рук могут заставить ее улыбнуться? Разве его знания о жизни и о мире могут быть ей полезны? На что способны его тяжелые рабочие руки и одурманенные алкоголем мозги, чтобы и уважения к себе не лишиться, и позволить себе принять любовь дочери? Ненависть к Пиколе кислым комком

собралась у Чолли в желудке, угрожая излиться рвотой. Но когда мерзкий ком уже двинулся в горло, стремясь вырваться наружу, девочка вдруг переменила позу и сейчас стояла на одной ноге, почесывая лодыжку большим пальцем второй. Это было совершенно спокойное, жалостливо-девчачье движение. А руки ее все продолжали двигаться, оттирая засаленную сковородку, отковыривая черные подгорелые хлопья в холодной жирной воде. Застенчивый, словно обращенный в себя взгляд и почесывание одной ноги большим пальцем второй — именно такой предстала перед Чолли Паулина, когда он впервые увидел ее в Кентукки; она бездумно опиралась на изгородь и смотрела прямо перед собой — как бы в пустоту и ни на кого конкретно. Нежный округлый палец одной босой ноги почесывал бархатную лодыжку второй. Это был самый незначительный и простой жест, но отчего-то он наполнил душу Чолли удивительной нежностью. Не похотью, не привычным желанием немедленно раздвинуть эти тугие молодые бедра и всем своим телом проникнуть туда, глубоко внутрь. Нет, Чолли охватила именно нежность, желание защитить, желание взять в руку ее маленькую ступню и ласково, губами и зубами, почесать ей лодыжку.

Он так и сделал, чем ужасно удивил Паулину и заставил ее рассмеяться. Вот и сейчас он сделал то же самое.

Прежняя нежность вдруг буквально вскипела в его душе, и он упал на колени, не сводя глаз с маленькой ступни дочери. Потом на четвереньках подполз к ней, взял ее ступню в ладонь, а вторую ногу принялся нежно гладить, и рука его ползла все выше, выше. Пикола пошатнулась, чуть не упала, и Чолли, желая уберечь ее от падения, второй рукой обхватил ее бедра и приподнял. Потом, наклонив голову, чуть коснулся дрожащими губами ее ноги и почувствовал крепкую нежную плоть. Закрыв глаза, он крепко сжимал талию девочки в своих сильных пальцах, и ему казалось, что неподвижность этого скованного страхом тела, безмолвность буквально парализованного ужасом горла, пожалуй, даже лучше, чем тогдашний легкий смех Паулины. Воспоминания о юной Паулине совершенно смешались в его голове с предвкушением чего-то дикого, запретного, все сильней возбуждая его; волна плотского желания, завладев всем его телом, добралась до гениталий, которые моментально набухли и стали горячими, а анус, напротив, расслабился. Но даже столь оглушительный приступ похоти

имел все же некие пределы: ему невыносимо хотелось трахнуть Пиколу — но как-то особенно нежно. Впрочем, мысль о нежности надолго в его мозгах не задержалась. Внутри у Пиколы все оказалось таким узким, что у Чолли не осталось ни капли терпения. Ему казалось, что сама его душа, неким образом соскользнув в гениталии, рвется в эту узенькую вагину. И когда он резким сильным рывком вошел в нее, у Пиколы вырвался один-единственный звук — негромкий захлебывающийся всхлип, который застрял где-то в глубине горла и лопнул, как воздушный шарик. Безумное вожделение Чолли почти сразу улеглось, и он почувствовал, как Пикола мокрыми мыльными ладошками стискивает его запястья, вцепляясь в них ногтями, но вряд ли смог бы сейчас сказать, она это делает в пылу безнадежной, но упрямой борьбы, пытаясь вырваться, или же ею владеет совсем иное чувство. Впрочем, выйти из нее Чолли оказалось даже труднее, чем войти; почувствовав, как девочке больно, он решил поспешить и буквально выдернул член из ее сухой вагины. Пикола потеряла сознание. Чолли встал, заметил вдруг ее грязноватые трусики, печально обвисшие и сползшие на лодыжки, и его охватила знакомая смесь ненависти и нежности.

Ненависть не позволила ему поднять девочку с пола и взять на руки; нежность все же заставила его прикрыть дочь одеялом.

Очнувшись, Пикола увидела, что лежит на полу в кухне, укрытая каким-то тяжелым одеялом, и попыталась связать боль между ногами с тревожным лицом склонившейся над ней матери.

ВИДИТЕСОБАКАПРОДОЛЖАЕТЛАЯТЬ
СОБАКАПРОДОЛЖАЕТХОТИТЕПОИГРАТЬ
ХОТИТЕПОИГРАТЬХОТИТЕПОИГРАТЬ
СДЖЕЙНВИДИТЕСОБАКАБЕЖИТСО

* * *

Жил да был один старик, который очень любил вещи, но даже самый легкий контакт с людьми вызывал у него отвращение и слабую, но настойчивую тошноту. Он уже и припомнить не мог, когда возникла эта неприязнь, как не помнил, впрочем, что хоть когда-либо в жизни ее не испытывал. В юности отвращение к другим людям сильно его тревожило, тем более эти «другие», похоже, к нему никакой неприязни не чувствовали; но он получил хорошее образование и в итоге — среди многих других вещей — узнал о существовании понятия «мизантроп». Присвоив себе этот ярлык, с которым он сразу почувство-

вал себя комфортнее и храбрее, он уверовал в то, что, если можно дать злу имя, значит, его можно и нейтрализовать или даже уничтожить. Затем он, разумеется, прочел кое-какие книги и поближе познакомился кое с кем из великих мизантропов, существовавших в разные времена; духовная близость с ними не раз служила ему утехой и мерой в его странных причудах, страстных приверженностях и антипатиях. Мало того, он пришел к выводу, что мизантропия — прекрасное средство для укрепления и развития характера: когда ему удавалось подавить отвращение, а порой и прикоснуться к другому человеку, помочь ему или дать дружеский совет, он не без оснований считал себя человеком душевно щедрым, свое поведение — правильным, а свои намерения — благородными. Когда же его приводила в ярость чья-то жалкая попытка совершить какое-то усилие или же имеющийся у кого-то из «других» очевидный недостаток, он убеждал себя, что это не может не задевать его как человека проницательного, обладающего тонким вкусом и полного прекрасных сомнений.

Как это случилось и со многими другими мизантропами, презрение к людям привело его к профессии, казалось бы, созданной, чтобы людям

служить. Его нынешний вид работы был связан и зависел исключительно от его личной способности завоевывать доверие — то есть прежде всего ему необходимо было установить с тем или иным человеком самые тесные, можно сказать, почти интимные отношения. Сперва он решил, что для него лучше всего подходит роль священника англиканской церкви, но вскоре разочаровался, сменил работу и стал патронажным медбратом, ухаживающим за тяжелобольными. Время и неудачи, однако, заключили против него заговор, и, перебрав еще несколько профессий, он в итоге остановился на той, что обеспечивала ему и свободу, и удовлетворение: стал «чтецом, советчиком и интерпретатором снов». Это занятие полностью его устраивало. Временем он мог распоряжаться по своему усмотрению, реальных соперников было немного, и они оказались намного слабее, клиенты уже убедились в его высочайшей квалификации, а значит, стали вполне управляемыми; к тому же у него появилось множество возможностей становиться свидетелем различных проявлений человеческой глупости, никак не участвуя в них и не подставляя себя под удар, а его изысканный вкус даже получал некоторую подпитку в наблюдении различных

вариантов распада человеческого организма и личности. Особых доходов у него, правда, не было, но не было и стремления к роскоши — пребывание в монастыре значительно укрепило его природную склонность к аскетизму и развило стремление к уединенной жизни. Целибат представлялся ему надежным убежищем, а молчание — щитом.

Всю жизнь он обладал особой любовью к вещам — нет, он не стремился к богатству или приобретению изысканных или старинных объектов; его любовь была искренней и направленной в основном на вещи старые или поношенные: он, например, обожал старый кофейник, некогда принадлежавший его матери, или коврик с приветственной надписью, который лежал у двери того дома, где он когда-то снимал комнату, или одеяло из магазина Армии спасения. Казалось, его отвращение к контактам с живыми людьми странным образом трансформировалось в стремление обладать именно теми вещами, которых живые люди касались. Недолговременное присутствие людских душ, как бы размазанное по неодушевленным предметам, — вот те единственные следы человека, которые он был способен с легкостью выносить. Созерцать, на-

пример, старый коврик, ставший свидетелем стольких человеческих шагов; вдыхать запах старого одеяла и купаться в сладкой уверенности, сколь многие тела под ним спали, потели, видели сны, занимались любовью, болели и, возможно, даже умирали. Куда бы он ни направился, он всегда брал с собой свои любимые старые вещи и всегда пребывал в поиске нового старья. Та же любовь к поношенной одежде и старым вещам создала у него привычку нерегулярно, но согласно четкой схеме обследовать мусорные баки в переулках и мусорные корзины в общественных местах.

В целом же его личность являла собой некий загадочный арабеск: сложная, симметричная, четко сбалансированная и крепко сбитая. У него имелся лишь один недостаток: четкую схему время от времени портили нечастые, но острые приступы сексуального голода.

Он давно мог бы стать активным гомосексуалистом, но ему не хватило храбрости. Секс с животными ему даже в голову не приходил, а содомия вообще не рассматривалась, ибо он не испытывал длительной эрекции, а мысль, что у кого-то эрекция может продолжаться достаточно долго, была для него попросту невыносима.

Мало того, уж если необходимость совокупления с женщиной, сопровождающегося взаимными ласками, вызывала у него самое настоящее отвращение, то еще большее отвращение вызывала у него возможность мужских ласк и, соответственно, необходимость самому ласкать партнера. Во всяком случае, его желания, сколь бы сильны они ни были, никогда не приводили к чисто физическому контакту. Он питал отвращение к прямому соприкосновению с чужой плотью. Одно обнаженное тело на другом — бр-р-р! Запахи чужого тела и дыхания вызывали у него оторопь. А уж комочек засохшей в уголке глаза слизи, гнилые или выпавшие зубы, ушная сера, гнойные прыщи, родинки, мозоли, ранки с подсохшей корочкой — то есть все те естественные способы защиты, на которые способно человеческое тело, представлялись ему и вовсе омерзительными. А потому он постепенно сосредоточил внимание на тех, чьи тела представлялись ему наименее агрессивными, — на детях. Но и педофилия давалась ему непросто; он был не слишком уверен в себе в плане гомосексуальных отношений — тем более мальчишки часто оказывались грубоватыми, упрямыми и пугливыми, — и решил в дальнейшем ограничиться девочками, ибо де-

вочки обычно послушны и легко управляемы, а зачастую и весьма соблазнительны. Его сексуальность ни в коей мере не являлась простой похотью, его приязнь к девочкам обладала определенным привкусом невинности, а в его душе и вовсе ассоциировалась с чистотой отношений. Он и сам был этаким приятным чистеньким старичком с глазами цвета корицы, типичными для уроженца Вест-Индии, и светло-коричневой кожей.

И хотя имя, полученное им при крещении, было напечатано и на вывеске, приклеенной к его кухонному окну, и на визитках, которые он сам активно распространял, жители города все равно называли его по-своему: Церковь Мыльная Голова. Или чаще просто Мыльная Голова, потому что никто толком не знал, откуда взялась эта «Церковь», — возможно, еще из того далекого прошлого, когда он был приглашенным проповедником, то есть имел право вместе с другими священниками читать проповеди, но собственного прихода или хотя бы нескольких последователей не имел, однако регулярно посещал другие церкви и сидел у алтаря рядом с хозяином — приходским священником. Зато каждый знал, откуда взялось прозвище «Мыльная

Голова»: свои тугие кудри он смазывал особой мыльной пенкой, чтобы лучше блестели и выглядели пышнее. Процедура, в общем, примитивная и довольно распространенная.

Он вырос в семье, гордившейся своей ученостью и своей смешанной кровью — на самом деле они считали, что первое есть следствие второго. Дело в том, что некий сэр Уиткомб из семьи захиревших британских аристократов, который предпочел коротать свои дни под солнцем, казавшимся ему значительно более полезным, чем бледное солнце Англии, подарил своим потомкам «струю белой европейской крови» еще в начале 1800-х.

Получив по приказу короля дворянство, сэр Уиткомб и сам совершил вполне цивилизованный поступок, обеспечив сына-мулата, считавшегося бастардом, состоянием в три сотни фунтов стерлингов, чем привел в неописуемый восторг мать бастарда, которая почувствовала, что наконец-то судьба решила ей улыбнуться. Сам бастард тоже был несказанно благодарен и отныне считал главной целью своей жизни сохранение пресловутой «белой струи». Он одарил своим благосклонным вниманием пятнадцатилетнюю девушку аналогичного происхождения

и тоже, естественно, смешанной крови. Она, отличная пародия на приверженцев викторианских воззрений, постаралась научиться у своего мужа всему необходимому для «цивилизованной жизни»: во-первых, отделила себя телом, душой и умом от всего, что могло хотя бы отчасти свидетельствовать о наличии у нее африканских корней; а во-вторых, стала охотно культивировать привычки, вкусы и предпочтения родителей мужа: покойного свекра и чрезвычайно глупой свекрови.

Свою патологическую англофилию они сумели передать своим шестерым детям и шестнадцати внукам. В этой семье — за исключением редких и не принимаемых в расчет инсургентов, которые вопреки семейным устоям выбирали себе чернокожих супругов, — все и всегда старались устроить свой брак так, чтобы подняться еще немного «выше», еще немного «высветлить» доставшуюся по наследству кожу, еще немного изменить тип лица в сторону «более европейского».

Они были уверены и в собственном превосходстве, и в собственных способностях, а потому очень неплохо успевали в школе. Они были изобретательны, аккуратны и энергичны и

без малейших сомнений надеялись доказать гипотезу де Гобино[17], что «все цивилизации произрастают из белой расы, и ни одна из них не может существовать без ее помощи, а общество будет по-настоящему великим и процветающим только до тех пор, пока сохранит в себе кровь той благородной группы, которая и явилась его создательницей». А потому они редко оставались без внимания руководства школы, когда требовалось отобрать наиболее способных студентов для учебы за рубежом. Они изучали медицину, юриспруденцию, теологию и регулярно выныривали на поверхность в тех бессильных государственных учреждениях, что были доступны местному населению.

То, что они были взяточниками как в общественной жизни, так и в частной практике, то, что они были развратны и похотливы, менее одаренное цветное население считало законным правом «благородных» и воспринимало чуть ли не с восторгом.

Однако годы шли, и в связи с проявленной беспечностью или неосторожностью кое-кого из

[17] Примечания: 17

Жозеф Артюр де Гобино (1816–1882) — французский социолог и писатель, один из основателей идеологии расизма и расово-антропологической школы в социологии.

братьев Уиткомб семейству стало все труднее сохранять и поддерживать «ген белокожести». Тогда-то они и начали заключать браки между родственниками, далекими и не очень. Хотя в результате этих сомнительных союзов и не было замечено никаких очевидных дурных последствий, но у одной или двух старых дев была диагностирована деменция, а у одного садовника сразу несколько сыновей страдали умственной отсталостью и предрасположенностью к эксцентричным поступкам, да и справляться с ними оказалось достаточно трудно. Но, в общем, на фоне обычного алкоголизма и разврата все это воспринималось как мелочи, недостойные особого внимания.

Вину за упомянутые неприятности возложили на неудачную идею — которую им, разумеется, «подбросил кто-то со стороны», — заключать родственные браки; при этом вопрос о чистоте исходных генов престарелого, превратившегося в полутруп лорда Уиткомба даже не стоял. Они были уверены: им так или иначе выпал счастливый случай. Таких «счастливчиков» было достаточно и в других семьях, но эти оказались особенно опасными, поскольку сумели обрести определенную власть. Один из них стал религи-

озным фанатиком и даже основал собственную тайную секту; у него было четверо сыновей, и один из них, школьный учитель, славившийся точностью и справедливостью суждений, а также умением сдерживать свое неистовое стремление к насилию, женился на очень милой, хотя и довольно вялой китаянке-полукровке. Увы, тяготы беременности и родов оказались ей не по силам, и она, произведя на свет сына, вскоре умерла, а мальчик, получивший имя Элихью Мика Уиткомб, стал прекрасным подопытным материалом для отца, школьного учителя, который отрабатывал на сыне собственные теории необходимого образования, строгой дисциплины и хорошей жизни. Маленький Элихью старательно запоминал все, что, с точки зрения отца, должен был знать и уметь очень хорошо; лучше всего он овладел тонким искусством самообмана. Читал он жадно и много, но воспринимал прочитанное избирательно, предпочитая те куски чужих произведений и те осколки чужих идей, которые могли поддержать его в том или ином сиюминутном пристрастии. Так, например, он предпочел запомнить, какое оскорбительное насилие совершил Гамлет над Офелией, но практически выбросил из головы любовь

Христа к Марии Магдалине; ему нравилось легкомысленное поведение Гамлета, а не серьезные анархистские убеждения Христа. Он замечал едкость Гиббона[18], но не обращал внимания на его толерантность; любовь Отелло к прекрасной Дездемоне заслоняла для него извращенную любовь Яго к Отелло. Более всего он любил Данте, а произведения Достоевского просто терпеть не мог. При всей его открытости лучшим умам западного мира он допускал знакомство лишь с самой узкой их интерпретацией. А на контролируемое насилие со стороны отца отвечал выработкой жестких привычек и мягкого воображения. Отсюда и ненависть к отцу, и восхищение им, не допускавшим ни малейшего намека на беспорядок или распущенность.

Впрочем, в семнадцать лет он встретил свою Беатриче. Она была старше на три года. Очаровательная, часто смеющаяся большеногая девушка, работавшая клерком в китайском универмаге. Ее звали Вельма.

И столь сильны были ее интерес и любовь к жизни, что и хрупкого болезненного Элихью она тут же включила в круг своих интересов. Она

[18] Примечания: 18

Эдуард Гиббон (1737–1794 — английский историк, автор знаменитого труда «История упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788).

находила трогательными его привередливость и полное отсутствие юмора и страстно мечтала приобщить его к умению получать от жизни радость и удовольствия, хотя он вовсе не хотел к этому приобщаться и даже сопротивлялся. Преследуя свою благородную цель, Вельма все-таки вышла за него замуж, но, увы, всего через пару месяцев обнаружила, что он не только страдает непобедимой меланхолией, но и получает от нее удовольствие. Когда же она поняла, сколь эта меланхолия для него важна, сколь интересно ему противопоставлять жизнелюбию и веселости жены свою куда более «академичную» мрачность, сколь сильно вбиты в него церковные представления, что он буквально уравнивает занятие любовью с причастием и Святым Граалем, то попросту собрала вещички и ушла. Прожив столько лет у моря и постоянно слушая песни портовых грузчиков, она вовсе не собиралась похоронить себя в безмолвной пещере души Элихью.

А он после ее ухода так и не оправился. Ведь он полагал, что именно она станет ответом на нерешенный и даже толком не сформулированный им вопрос: где именно жизнь встречается с посягающей на ее права нежизнью? Именно она, Вельма, должна была спасти его от той нежизни,

к которой давно приучил его плоский отцовский ремень. Но всем ее попыткам привить ему жизнелюбие он сопротивлялся с таким мастерством и упорством, что в итоге она просто вынуждена была бежать от этой неизбежной скуки, от этой чуть ли не «святой» жизни.

Вполне возможно, хрупкая душа юного Элихью не выдержала бы удара и попросту развалилась бы на куски, но от разложения ее удержала твердая рука отца, который все расставил по своим местам, напомнив отпрыску о репутации их славной семьи и о весьма сомнительном происхождении беглой Вельмы. После подобной встряски Элихью с еще большим рвением принялся за свои штудии и пришел, наконец, к решению вступить в ряды духовенства. Однако умные люди посоветовали ему этого не делать, поскольку никакого призвания к священничеству у него не было, и тогда, совершив крутой поворот, он покинул родной остров, приехал в Америку и стал изучать психиатрию, тогда еще только зарождавшуюся. Но занятия этим предметом требовали слишком много правды и искренности, сопровождались слишком большим количеством конфронтаций и давали слишком малую поддержку его слабеющему эго.

Он бросил психиатрию и занялся социологией, затем попытался стать врачом-терапевтом. Короче, бесконечный выбор профессии растянулся на долгие шесть лет, и в итоге отец отказал ему в материальной поддержке до тех пор, пока он окончательно не «найдет себя». Элихью понятия не имел, где же себя искать, и оказался отброшен к собственным юношеским идеям; впрочем, он довольно быстро «нашел себя», поняв, что совершенно не способен зарабатывать деньги, и начал погружаться в весьма недолговечную претензию на жизнь аристократа, которую старался вести благодаря тем немногочисленным должностям «белого воротничка», которые являются в Америке доступными для цветных и чернокожих вне зависимости от «благородства» их происхождения. Это были должности конторского служащего, портье в чикагском отеле для цветных, страхового агента, коммивояжера, торгующего косметикой фирмы, производящей товары для черных. В итоге в 1936 году он очутился в Лорейне, штат Огайо, и стал выдавать себя за бывшего священника, вызывая у прихожан благоговейный трепет уже одной своей грамотной речью. Женщины быстро прознали, что он якобы дал обет безбрачия, но так и не сумели понять, по-

чему же все-таки он их отвергает, и решили, что он, по всей видимости, существо не совсем нормальное, даже, пожалуй, сверхъестественное.

Как только Элихью понял, к какому решению пришли местные женщины, он тут же перестроился в соответствии с ним и принял не только прозвище Церковь Мыльная Голова, но и роль, которая отныне была ему отведена. Он снял себе жилье на задах дома, принадлежавшего глубоко религиозной старой даме по имени Берта Риз, чистенькой, тихой и почти глухой. Квартирка оказалась идеальной почти во всех отношениях, кроме одного: у Берты Риз имелась собака. Старый пес по имени Боб. Он был почти так же глух, как и его хозяйка, да и чистотой, увы, не отличался. Большую часть дня он спал на заднем крыльце, то есть перед дверью в квартирку Элихью. Пес был слишком стар, чтобы приносить хоть какую-то пользу, а у Берты Риз не хватало ни сил, ни присутствия духа должным образом за ним ухаживать. Она, разумеется, кормила и поила его, но во всем остальном предоставляла самому себе. Пес был чудовищно грязен и явно страдал от паразитов; в уголках его усталых глаз скапливалась неприятная слизь цвета морской волны, которая страшно привлекала слепней

и мух. У Мыльной Головы старый Боб вызывал исключительно отвращение; он мечтал, чтобы пес поскорее отправился на тот свет, но считал свое желание вполне гуманным, уверяя себя, что просто не в силах видеть, как страдает живое существо. Ему даже в голову не приходило, что на самом деле заботят его исключительно собственные страдания, ведь пес-то никаких страданий не испытывал, вполне приспособившись и к слабости, и к старости. В конце концов Мыльная Голова решил положить конец страданиям собаки и даже купил яд, с помощью которого и собирался совершить это «благое дело». Ему мешал лишь ужас, который он испытывал перед необходимостью подойти к старому и больному псу вплотную. И теперь Мыльная Голова ждал лишь момента, когда его подтолкнут к убийству вспышка неконтролируемого гнева или слепящее омерзение.

Итак, он жил, окруженный старыми или поношенными вещами, вставал утром ни свет ни заря после лишенного сновидений сна и принимался давать советы тем, кто их искал. Его бизнес был основан на страхе. Люди приходили к нему, охваченные страхом, что-то шептали, плакали, умоляли, и страх их все возрастал. Вот по поводу

различных страхов он и давал советы.

Люди поодиночке отыскивали тропу к его дверям, и каждый был точно обернут в саван, простроченный гневом, страстью, тоской, гордыней, жаждой мести, одиночеством, нищетой, неудачами и голодом. А просили они у него самых простых вещей: любви, здоровья, денег. Сделай так, чтобы он меня полюбил, требовали они. Объясни, что означает мой сон? Умоляю, помоги мне избавиться от этой женщины! Убеди мать вернуть мне мою прежнюю одежду. Поколдуй, пожалуйста, над моей левой рукой, чтоб она трястись перестала. Помоги, заставь призрак моего младенца убраться с кухонной плиты. Сломай вот здесь, и все наладится. Все их просьбы он выслушивал сам. И всегда старался сделать то, о чем его просят, но сам ничего не предлагал и не высказывал ни малейших намеков на то, что некоторые просьбы могли показаться ему несправедливыми, подлыми или безнадежными.

Если не считать нечастых, становившихся все более редкими встреч с маленькими девочками, которых ему удавалось убедить, что им у него будет очень весело, он тихо и мирно существовал среди старых вещей и не позволял себе предаваться сожалениям. Он понимал, разумеется,

что в его жизни, как и в жизни многих других людей, что-то идет неправильно, но откладывал эту проблему до той поры, когда ею займется тот, кто ее и породил: Создатель.

Он верил, что поскольку распад, разложение, грех, грязь и беспорядок вездесущи, значит, они заложены в Природе Вещей. Зло существовало, потому что его некогда создал Бог. Он, то есть Бог, просто по неряшливости допустил в расчетах некую непростительную ошибку: создал Вселенную, весьма далекую от идеала.

Теологи оправдывали существование различных видов морального разложения и коррупции как средства для испытания людей: люди должны бороться, прилагать массу усилий и в итоге после тяжкого испытания одерживать победу. Триумф космического порядка. Но этот порядок вещей, порядок Данте, в своем четком подразделении всего и вся выделял и самые разнообразные уровни зла, распада и разложения. Однако в нынешнем мире все было не так. Самые изысканные дамы оказывались помешанными на туалетах пустышками, а те, что выглядели отвратительно, умудрялись сохранить в душе самые чистые и святые намерения. В общем, Господь плоховато справился со своей задачей, и Мыльная Голова

подозревал, что у него-то все получилось бы гораздо лучше. Жаль, в самом деле, что Создатель не удосужился спросить у него совета!

Однажды жарким полуднем Мыльная Голова в очередной раз предавался размышлениям на эту тему, когда к нему в дверь тихонько постучали. На пороге оказалась чернокожая девочка, совершенно ему не знакомая. На вид ей было лет двенадцать, и она показалась ему на редкость непривлекательной. На вопрос, что ей нужно, она не ответила, но протянула ему одну из его рекламных листовок, где перечислялось, какие услуги он оказывает и какими способностями обладает. «Если вас одолели беды и обстоятельства неестественного происхождения, я, возможно, сумею их устранить; я также снимаю чары, устраняю с вашего пути неудачи и воздействие Зла. Учтите: я истинный спиритуалист, а также многое могу прочесть по вашему телу; эти способности у меня от рождения, так что я непременно вам помогу. Вы испытаете облегчение уже после первого визита. За долгие годы практики мне удалось многих соединить узами брака. В том числе и тех, чей брак распался. Если вы несчастны, потеряны или пребываете в отчаянии, я наверняка сумею вам помочь. Вам кажется, что вас преследуют

неудачи? Вам изменил любимый человек? Я смогу сказать вам, почему это происходит, я объясню, кто ваши друзья и враги и какое чувство, истинное или фальшивое, испытывает к вам тот, кого вы любите. Если вы больны, я смогу указать вам путь к исцелению. Я также умею отыскивать потерянные и украденные вещи. Результат гарантирован».

Мыльная Голова предложил девочке войти и ласково спросил:

— Чем я могу тебе помочь, дитя мое?

Она стояла, сложив руки на странно торчавшем вперед животе.

— Может быть… Может быть, вы сможете это для меня сделать…

— Что именно?

— Я больше никак не могу ходить в школу. И подумала, может, вы мне помочь сумеете.

— Чем же я, по-твоему, мог бы тебе помочь? Объясни. Расскажи. Не бойся.

— Помочь мне с моими глазами.

— А что у тебя с глазами?

— Я хочу, чтобы они стали голубыми.

Мыльная Голова поджал губы и невольно пощупал языком золотые коронки. Похоже, это была самая фантастическая и одновременно

самая логичная просьба из всех, с какими к нему обращались. Перед ним стояла просто некрасивая чернокожая девочка, которая просила красоты. Волна любви и понимания охватила все его существо, однако ее быстро сменил гнев — ведь помочь девочке он был бессилен, хотя из всех людских желаний, которые ему высказывали — деньги, любовь, месть, — желание этой девочки показалось ему и наиболее мучительным, и наиболее заслуживающим исполнения. Чернокожая девочка просто хочет вынырнуть из ямы своей черноты и увидеть мир голубыми глазами! Он чувствовал, как разрастается его гнев, как он превращается в некую силу. Впервые в жизни ему искренне хотелось действительно иметь возможность творить чудеса. Никогда раньше он по-настоящему не стремился обладать подобным могуществом — истинной и святой божественной силой, — ему было достаточно, чтобы другие поверили, что он этим могуществом обладает. И было так печально, что такая незначительная вещь, как собственная смертность, а вовсе не чей-то приговор, подобной возможности ему не дает. Или это все же не так?

Дрожащей рукой он осенил девочку крестом, чувствуя, что по всему телу у него вдруг поползн-

ли мурашки. Ему вдруг стало холодно в жарко натопленной темноватой комнатенке, забитой всяким старьем.

— Я ничего не могу для тебя сделать, дитя мое. Я не волшебник. Я тружусь только по милости Божьей: иногда Он использует меня как свое орудие, чтобы помочь людям. И единственное, что я могу, это предложить Ему себя в качестве подобного инструмента. Если Он захочет удовлетворить твою мечту, то сделает это.

Мыльная Голова подошел к окну и остановился спиной к девочке. Его мысли неслись вскачь, спотыкались и снова неслись. Как правильно оформить следующее предложение? Как удержаться в этом внезапно проснувшемся ощущении собственного могущества? Его взгляд упал на старого Боба, мирно спавшего на крыльце.

— Вот что мы должны сделать: мы должны принести… жертву, дабы войти в контакт с природой. Возможно, некое примитивное существо смогло бы тогда стать проводником Его слов, обращенных к нам? Давай попробуем. — И он, не оборачиваясь, опустился возле окна на колени и стал шевелить губами, словно вознося молитву. Затем, когда ему показалось, что времени прошло достаточно, он встал, подошел к холодильнику,

стоявшему возле соседнего окна, достал оттуда маленький розовато-коричневый сверток, явно принесенный из лавки мясника, и сбрызнул содержимое свертка какой-то жидкостью из коричневого пузырька, который стоял у него на полочке. Положив сверток на стол, он сказал девочке: — Отдай это псу, что спит на крыльце. Да убедись, чтобы он непременно все съел. А потом внимательно смотри, как он будет себя вести. Если с ним ничего не случится, ты поймешь, что Бог тебе отказал. Если же пес начнет вести себя немного странно, ты обретешь то, о чем просишь, уже на следующий день.

Девочка взяла пакет. От запаха темного несвежего липкого мяса ее затошнило, и она невольно прижала к выступающему животу свободную руку.

— Смелей, смелей, дитя мое! — подбодрил ее он. — Даров от Господа не получает тот, кто слаб душою.

Она кивнула и судорожно сглотнула, с трудом сдерживая рвоту. Мыльная Голова открыл перед ней дверь, девочка переступила через порог, и он, быстро проговорив: «Ну, прощай, Бог тебя благослови!», тут же захлопнул дверь у нее за спиной. А потом стоял у окна, наблюдая за действиями

девочки и сдвинув брови в знак сострадания, а язык его привычно ласкал потертую металлическую пластину на верхних зубах. Он видел, как девочка склонилась над спящим псом и нежно его погладила. Тот, почувствовав ласку, даже приоткрыл один слезящийся глаз, в углах которого сбилась в комки отвратительная слизь, похожая на зеленый клей. Девочка еще раз нежно погладила его по голове и положила сверток с мясом на пол возле собачьего носа. От знакомого запаха Боб проснулся, поднял голову и даже встал, желая, видимо, понять, что это так упоительно пахнет. Угощение он сожрал в три или четыре глотка. Девочка снова погладила его по голове, и пес лег, глядя на нее ласковыми треугольными глазами. Но потом вдруг закашлялся — тяжелым мокрым кашлем старика — и встал на ноги. Девочка отскочила. Пес кашлять перестал и умолк, судорожно разевая пасть, словно ему не хватало воздуха. А потом упал, снова попытался встать и не смог. Он без конца повторял эти попытки, пока не свалился с крыльца. Оказавшись на земле, он вдруг начал двигаться по кругу, задыхаясь и спотыкаясь, как сломанная игрушка. Девочка стояла растерянная, открыв рот от ужаса и изумления и высунув кончик розового языка. Потом она как-то

странно, нелепо взмахнула рукой, содрогнулась всем телом и обеими руками заткнула себе рот, пыталась сдержать рвоту. Пес снова упал, по телу его прошла мощная судорога, и он затих. По-прежнему зажимая руками рот, девочка попятилась, резко развернулась и бросилась прочь со двора.

Мыльная Голова подошел к столу и сел, опираясь локтями о столешницу и уронив голову на сцепленные пальцы. Посидев так немного, он поднялся, подошел к маленькому ночному столику с ящичком и достал оттуда бумагу и ручку. Затем с той же полки, где хранил яд, взял бутылочку с чернилами. Бережно положил все эти предметы на стол, снова уселся и неторопливо, осторожно, наслаждаясь тем, что владеет искусством каллиграфии, вывел на листе следующее послание:

«ТОМУ, КТО В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ
ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАЛ
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ НАТУРУ УЖЕ ТЕМ,
ЧТО СОЗДАЛ ЕЕ.

Дорогой Бог, целью этого письма является ознакомление Тебя с некоторыми фактами, которые либо ускользнули от Твоего внимания, либо же Ты сам предпочел их не заметить.

Некогда в ранней юности я проживал на одном

из созданных Тобой островов. Этот остров являлся частью архипелага, расположенного в Южной Атлантике между двумя Америками, Северной и Южной, включая Карибское море и Мексиканский залив; этот архипелаг как бы подразделен на Большие Антильские острова, Малые Антильские острова и Багамские острова. Заметь, не просто Наветренные или Подветренные острова-колонии. И мой остров находился, разумеется, внутри той группы Антильских островов, которая побольше (хотя точность моего изложения порой, возможно, несколько утомительна, но мне необходимо, чтобы я как можно более четко идентифицировал для Тебя свою персону).

Итак. Мы у себя в колонии воспринимали как свое собственное одно из самых драматичных и очевидных свойств нашего белого хозяина, но, к сожалению, также и одно из самых худших. Однако, сохраняя идентичность нашей расы, мы изо всех сил старались сохранить в себе и эту особенность его натуры; большинство делало это с удовольствием, меньшинство, хоть и испытывало определенные неудобства, не сопротивлялось большинству.

А именно: мы, не имея ни малейшего отношения к королевским корням, были типичными

снобами. Не будучи аристократами, мы чувствовали классовое превосходство над всеми остальными. Мы были уверены, что авторитет проявляется в жестокости по отношению к тем, кто слабее и беднее, а все необходимое образование человек получает в школе и колледже. Мы ошибочно принимали насилие за страсть, праздность — за досуг, безрассудную беспечность — за свободу. И в том же духе мы воспитывали своих детей. Да, мы, не щадя сил, растили свой урожай и своих детей, приумножая свою собственность. Но наши мужские качества развивались в логове приобретательства и накопительства. А женские — в тенетах покорности или неохотного соглашательства. И запах плодов Твоих, и труд дней Твоих был нам ненавистен.

Сегодня утром перед тем, как явилась та чернокожая девчушка, я плакал — по Вельме. О нет, не вслух. Нет такого ветра, который согласился бы унести или хотя бы приподнять те звуки, что столь сильно отягощены сожалениями. И все же я плакал по Вельме — по-своему, втихомолку, в своем одиноком жилище. Тебе нужно кое-что знать о Вельме, чтобы понять, какой поступок я совершил сегодня.

Она (Вельма) меня оставила. Оставила так, как

оставляют гостиничный номер. Гостиничный номер — это такое временное место, где ты останавливаешься по необходимости и занимаешься тоже чем-то временным. К твоей основной жизни, к ее привычному устройству гостиничный номер не имеет никакого отношения. Он, безусловно, удобен, но его удобства ограничены тем временем, в течение которого ты находишься в том или ином конкретном городе по тому или иному конкретному делу; ты надеешься, что твой номер достаточно комфортабелен, но лучше бы он был абсолютно анонимен. Ведь не в нем же, в конце концов, ты постоянно живешь.

Когда номер тебе больше не нужен, ты платишь какую-то сумму за его использование, говоришь портье: «Спасибо, сэр» и, поскольку с делами в этом городе покончено, спокойно этот номер оставляешь. Разве кто-то сожалеет о покинутом гостиничном номере? Разве тот, у кого есть настоящий дом, захотел бы в этом номере остаться? Разве кому-то придет в голову лишний раз оглянуться — с любовью или с отвращением — на тот гостиничный номер, из которого он выезжает? С любовью или с отвращением ты можешь относиться только к той жизни, которую в нем вел. Но не к самой комнате. Однако воспоминание о

ней у тебя остается, и ты берешь его с собой. Нет, о нет — вовсе не для того, чтобы вспоминать это помещение. Вспоминать ты будешь то время и то место, потому что занимался там важными делами или обрел интересное приключение. Разве может человек испытывать по отношению к гостиничному номеру какие-то чувства? А если и может, то они будут примерно теми же, какие сам этот номер испытывает к своему постояльцу.

Именно так и было со мной, о Всемогущий, Всемилостивейший Отец мой — она оставила меня, как ставший ненужным гостиничный номер; точнее, она меня и не оставляла, потому что ее никогда не было рядом со мной.

Ты ведь помнишь, должно быть, как и из чего мы созданы? Так позволь рассказать тебе о маленьких грудках юных девочек. Я сразу прошу прощения за неуместность темы (не так ли?) и за собственную неуравновешенность, ибо меня тянет к ним в самое неподходящее время и в самых неподходящих местах, а также за дурной тон, поскольку мое пристрастие распространяется и на некоторых членов моего семейства. Но вот стоит ли мне извиняться за любовь к незнакомым девушкам?

Ведь тут есть и Твоя вина, Господи. Как, почему

Ты позволил такому случиться? Как допустил, чтобы я, едва оторвавшись от созерцания Твоего полуобнаженного тела, тут же предпочел впиться глазами в эти юные, едва расцветшие тела? Их груди подобны бутонам цветов. Или набухшим почкам на молодых побегах деревьев. А сами девочки так скромны и нежны — впрочем, Ты и сам это знаешь. И до чего же они стесняются этих своих скромных маленьких бутонов, сопротивляющихся любому прикосновению, пружинящих, как резиновые мячики! А вот груди их агрессивны. Они сами бросают мне вызов, подзадоривают, предлагают попробовать до них дотронуться. Нет, девочки меня ничуть не стесняются, как Ты мог бы предположить. Они прямо-таки липнут ко мне! Да, Господи, именно липнут. Хрупкие, узкогрудые, с талией, которую можно двумя пальцами обхватить. Боже, а сам-то Ты их когда-нибудь видел? Видел ли Ты их по-настоящему? Ведь, увидев их по-настоящему, невозможно их не полюбить! И Ты, их создавший, наверняка считал, что очаровательна уже сама идея подобной юной девственности, но реальное воплощение этой идеи оказалось в тысячу крат очаровательней! И я не сумел, как Ты, должно быть, помнишь, удержать вдали от них свои руки, свои губы. Они

такие сладкие, хотя и с легким оттенком горечи, как недозрелые ягоды земляники. Девочки протягивают тебе эти ягоды на ладошке, покрытой чуть солоноватым потом быстротечных, скачущих, ускользающих дней и часов.

Любовь к ним — прикосновение, вкус, ощущение их тел — это не просто порожденный роскошью порок, не просто человеческий грех. Они были для меня предназначены! Они были тем, что нужно сделать вместо. Вместо обожествления папы, вместо духовного сана, вместо любви к Вельме. И я решил, что без любви к ним я обойтись не могу. И в церковь я больше не ходил. Тут уж я, по крайней мере, точно не слукавил. А чем же я занялся? Сказал людям, что знаю о Тебе все, что мне передались все Твои силы. Это была не то чтобы абсолютная ложь, но все-таки очень большая ложь. И, признаюсь, мне никогда не следовало, нет, не следовало брать с людей деньги за неплохо мною изложенную, хорошо оформленную и, возможно, даже попавшую в цель ложь. Но следует учесть, что я просто ненавидел себя за это. Ни на мгновение в душе моей не проснулась любовь ни к деньгам, ни к созданной мною лжи.

И еще следует учесть то, что я рассказывал Тебе о той женщине, которая оставила меня, как

ненужный гостиничный номер.

И еще то, что когда-то на родном острове зелеными полуденными часами я был абсолютно счастлив.

Нельзя также не учитывать и того, какими полными надежды глазами эти девочки смотрели на меня, бессознательно выставив вперед свои маленькие груди, тоже исполненные надежды.

А еще, пожалуйста, прими к сведению, что мне просто необходимо было совершать какое-то маленькое комфортабельное зло, которое помешало бы мне понять то, что понимать было просто невыносимо.

И не забудь: деньги я всегда ненавидел и презирал.

А теперь, учитывая все это, подумай и ответь мне — нет, не по справедливости, не по каким-то моим заслугам, а в соответствии с тем милосердием, которое Ты все еще способен даровать мне: как мог Ты, Господь Всемогущий, так надолго оставить в одиночестве и без всякой защиты ту чернокожую девчушку, что пришла сегодня ко мне полубезумная, но все же сумевшая отыскать путь к моему порогу? Как Ты мог? Я оплакиваю Тебя, Господи. А плачу я потому, что теперь Твою работу придется делать мне.

А Ты знаешь, зачем она приходила? За голубыми глазами! «Мне нужны новые голубые глаза», — так и сказала, словно новые туфли хочет купить. «Мне, пожалуйста, пару вон тех новеньких голубых глаз». Она, должно быть, давно уже просила Тебя дать ей эти голубые глаза, но Ты ей так и не ответил. (Привычка, мог бы сказать ей я, давняя привычка, один-единственный раз нарушенная ради Иова, а больше никогда.) И тогда она пришла за новыми глазами ко мне. И протянула мне одну из моих рекламных листовок. (Листовка прилагается.) Между прочим, там я подписался своим настоящим полным именем: Мика-Мика Элихью Уиткомб. Но на самом деле все зовут меня Церковь Мыльная Голова. Я уже и припомнить не могу, как и почему получил это прозвище. А почему, кстати, одно имя придает человеку больший вес, чем другое? Значит, имя — это нечто вполне реальное? А человек — всего лишь то, что о нем говорит его имя? Не потому ли на самый простой и дружелюбный вопрос: «Как имя твое?», заданный тебе Моисеем, Ты отвечать не хотел, а сказал лишь: «Я тот, кто я есть». И вылупил удивленно глаза, как моряк Попай [19] — мол, как

[19] Примечания: 19

Popeye the Sailor, моряк Попай («лупоглазый», «пучеглазый», англ.) — герой американских комиксов и мультфильмов.

хочу, так и называюсь. Ты просто боялся назвать свое настоящее имя, не так ли? Боялся, что, узнав имя Твое, они и Тебя узнают? И не будут тебя бояться? Но ведь это же естественно. Не сердись. Я не хотел Тебя обидеть. Я все понимаю. Я был и очень плохим человеком, и очень несчастным. И когда-нибудь я непременно умру. Но ведь я всегда был таким добрым, так почему я должен умирать? Ах эти девочки! Они — единственное, чего мне будет не хватать. А знаешь, лаская их крепенькие маленькие титечки и даже порой чуточку их покусывая — ну совсем чуть-чуть, — я ведь испытывал к ним самые дружеские чувства. И мне вовсе не хотелось целовать их в губы, или ложиться с ними в постель, или взять себе в жены такую вот девочку для собственных порочных утех. Нет, мне просто хотелось с ними поиграть; ну, настроение у меня было такое — игриво-дружелюбное. И ничего общего с теми ужасами, о которых пишут в газетах. Или с тем, о чем люди шепчутся. Да ведь и сами-то девочки были очень даже не против. Очень даже.

Помнишь, сколькие из них приходили ко мне снова и снова? И ведь никто бы не стал даже пытаться понять, почему они снова приходят. Ведь если б я делал им больно, разве ж они стали

бы ко мне возвращаться? А две девочки — Дорин и Сладкая Детка — любили приходить вместе. Я угощал их мятными конфетками, давал им деньги, покупал мороженое, и они его ели, раздвинув ноги, а я пока с ними играл. Выглядело это почти как вечеринка. И не было в этом ничего гадкого, грязного, не было никаких дурных запахов, никаких стонов и плача — звучал лишь смех: легкий белый смех девочек и мой собственный.

И не было никаких долгих насмешливых взглядов, какими обычно одаривала меня Вельма после всего. После таких взглядов еще долго чувствуешь себя грязным. Один такой взгляд вполне может вызвать желание немедленно умереть. А с девочками у нас всегда все было чисто, по-хорошему, по-дружески.

Ты должен понять меня, Господи. Ты же сам сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное»[20]. Неужели забыл? Как же Ты мог забыть — о детях-то?

Да. Ты забыл. Ты позволил детям попрошайничать, сидя на обочинах дорог, и плакать рядом с телами мертвых матерей. Я видел детей, сильно

---

[20] Примечания: 20
Мтф, 19:14.

обожженных, хромых, еле волочащих ноги. А Ты о них забыл, Господи. Ты забыл, как и когда нужно действительно быть Богом.

Вот почему я сам сменил той чернокожей девочке глаза, даже не прикоснувшись к ней, даже пальцем до нее не дотронувшись. Я подарил ей голубые глаза, которые она так хотела иметь. И сделал это не ради удовольствия и не ради денег. Нет. Я всего лишь сделал то, чего не сделал Ты, — или не смог сделать, или просто не захотел. Я посмотрел на эту ужасно некрасивую чернокожую девчонку и полюбил ее. А потом сыграл Твою роль. И получилось очень неплохо!

Я, именно я сотворил настоящее чудо! Я подарил ей голубые глаза. Я подарил ей самые голубые на свете глаза, два ярко-голубых глаза — казалось, в них светится частица Твоей небесной лазури. Правда, больше никто этих голубых глаз не увидит. Но она-то их видеть будет! И будет жить долго и счастливо. И это я, именно я сумел сделать ее счастливой и считаю, что поступил по праву и по справедливости.

Ну вот, теперь Ты, похоже, мне завидуешь. Неужели ты и впрямь мне завидуешь? Но, видишь ли, я, оказывается, тоже могу быть создателем. Конечно, не Создателем всего сущего, как Ты,

но, как известно, созидание — вино пьянящее, и воздействует оно гораздо сильнее на того, кто его пьет, а не на того, кто его делает.

Вкусив этого нектара, я понял, что, оказывается, больше не боюсь ни Тебя, ни Смерти, ни даже Жизни, да и уход Вельмы я теперь воспринимаю абсолютно спокойно; как и папу римского; как и Антильские острова, Большие и Малые. Я абсолютно спокоен. Абсолютно.

С наилучшими пожеланиями,

Твой Мика Элихью Уиткомб».

Мыльная Голова аккуратно свернул исписанные листки втрое и сунул их в конверт. Печати у него не было, но ему почему-то страшно хотелось запечатать это письмо воском. И он, вытащив из-под кровати коробку из-под сигар, стал в ней рыться. Там хранились самые большие его драгоценности: кусочек нефрита, выпавший из чьей-то запонки в чикагском отеле; золотая подвеска в форме буквы «Y» с вделанным в нее кусочком коралла, некогда принадлежавшая его матери, которой он никогда не знал; четыре большие заколки для волос, которые Вельма, уходя от него, забыла в ванной на краешке раковины; грубая шелковая лента светло-голубого цвета с головы одной девочки, которую звали

Сокровище; почерневший от времени вентиль от крана из тюремной камеры в Цинциннати; два мраморных шарика, которые он как-то чудесным весенним днем нашел под скамьей в парке Морнингсайд; старый каталог «Лаки Харт», от которого все еще исходил слабый запах пудры «Орех и мокко» и легкого лимонного крема. Рассматривая эти вещи, он совсем позабыл, что именно искал в заветной коробке. Вспомнить, что же все-таки ему было нужно, он так и не сумел: усилие оказалось для него чрезмерным; в голове у него как-то странно загудело, а тело охватила волна страшной усталости. Он закрыл коробку, прилег на кровать, мгновенно соскользнул в светлый и довольно крепкий сон и уже не мог, разумеется, слышать тихих всхлипываний старушки, которая, выглянув на заднее крыльцо своей лавочки, торгующей сластями, обнаружила неподвижное тело старого пса по имени Боб.

Лето

Мне достаточно надкусить упругую клубничину, и я вижу лето — с его пыльной дымкой и сгущающимися тучами. Лето навсегда осталось для меня сезоном гроз. Опаленные солнцем дни и липкие ночи в моей памяти неразличимы, но грозы, яростные внезапные грозы, одновременно и пугавшие меня, и закаливавшие, остались в памяти навсегда. А может быть, память моя сохранила только одну летнюю грозу в том городе, где мы жили раньше, и все прочие грозы слились с ней воедино; вспоминая ту грозу, я представляю себе то страшное лето 1929 года, которое довелось пережить моей матери. По ее словам, торнадо тогда смел с лица земли половину южного Лорейна. Хотя, скорее всего, ее рассказы об этом я смешиваю со своими собственными воспоминаниями о летних грозах. Надкусывая ягоду клубники, я сразу вспоминаю эти грозы и вижу перед собой мать тогдашнюю — гибкую юную девушку в платье из розового крепа. Одной рукой она подбоченилась, а второй выжидающе покачивает возле бедра. Вдруг ее подхватывает ветер и возносит высоко

над домами, но она — стойкий оловянный солдатик — по-прежнему стоит в воздухе, опершись одной рукой о бедро. И улыбается. И рукой возле бедра по-прежнему покачивает, и в этом жесте — предвкушение и обещание. И грозящая беда ничуть не нарушает ее спокойствие. Даже когда летом 1929 года налетел торнадо, поза моей матери осталась неизменной. И на фотографии этого года она выглядит сильной, улыбающейся и совершенно спокойной, хотя мир вокруг нее, казалось, рушился. Впрочем, довольно воспоминаний. Известное событие часто становится фактом личной жизни, а сменяющие друг друга времена года в маленьком городке Среднего Запада и вовсе играют роль безжалостных мойр.

Лето было уже в самом разгаре, когда мы с Фридой получили, наконец, заказанные семена. Этот волшебный пакет мы ждали с самого апреля; в нем содержалось множество других мелких пакетиков с семенами, которые мы обязались распродать по пять центов за штуку и в итоге вознаградить себя за усилия новым велосипедом. Мы верили в свою мечту и каждый день огромное количество времени тратили, шныряя по городу и пытаясь продать семена.

Хотя мама сразу запретила нам заходить в дома

ее или наших знакомых, мы все равно стучались в каждую дверь, проникали со своим «товаром» в каждый дом — где нам открывали, разумеется; в основном это были двенадцатикомнатные дома, и в каждом из них проживало от пяти до семи довольно многочисленных семейств и неизбывно пахло прогорклым жиром и мочой. Не забывали мы заглянуть и в те крошечные деревянные четырехкомнатные домики, словно воткнутые в густой кустарник, что стояли у самой железной дороги; поднимались мы и в квартирки над рыбными и мясными лавками, мебельными магазинами, пивными и ресторанами, а иногда даже решались постучаться в двери аккуратных кирпичных домов с цветастыми коврами лужаек, стеклянными чашами фонарей и желобком для стока воды по краю лужайки.

Все лето мы были настолько поглощены своей «торговлей» и надеждой выручить за семена как можно больше денег, что мало прислушивались к разговорам соседей. Правда, в тех домах, где нас хорошо знали и всегда просили войти, присесть и выпить холодной воды или лимонада, мы успевали немного остыть, прийти в себя и начать слушать, о чем говорят между собой хозяева дома, занятые своими делами. В итоге из

обрывков этих разговоров стала складываться довольно страшная история, случившаяся совсем рядом с нами. Слушателями мы, правда, были не слишком внимательными, и лишь после двух или трех случайно подслушанных разговоров до нас дошло, что речь-то, оказывается, идет о Пиколе. Если попытаться сложить услышанные нами фразы в относительной последовательности, то ситуация вырисовывалась примерно такая:

— Ты о той девчонке-то слыхала?

— Неужто беременна?

— Да уж никаких сомнений. И догадайся, от кого?

— От кого же? Мало ли тут малолетних паршивцев, которые на всякое способны.

— Да нет, малолетки тут ни при чем. Говорят, это сам Чолли.

— Чолли? Так он же ее отец!

— Ага, вот именно.

— Господь милосердный! Неужели этот грязный ниггер осмелился?..

— Ты вспомни: он ведь до этого уже пытался всю семью вместе с домом сжечь. Я еще тогда подумала: а ведь парень-то наверняка не в себе.

— И что же она теперь делать собирается? Мать-то ее?

— Ничего. По-моему, так и будет жить, как жила. Чолли-то смылся.

— Мне кажется, окружной суд не разрешит ей этого ребенка при себе оставить. А ты как думаешь?

— Не знаю.

— Все-то у них, у Бридлавов этих, наперекосяк! И мальчишка то и дело из дома сбегает, и девчонка мне всегда придурковатой казалась.

— И неизвестно о них ничего — ни откуда приехали, ни откуда родом. Похоже, у них и родни-то никакой нет.

— Ты как думаешь, чего это Чолли вдруг на такую мерзость потянуло?

— Да что тут думать! Гнусный он тип, вот и все. Совсем пропащий.

— Девочку-то, наверно, из школы забрать надо.

— Еще бы! Она ведь тоже виновата — хотя бы отчасти.

— Ой, да ладно тебе! Девчонке, поди, и двенадцати не исполнилось.

— Это так, да только кто ее знает… И вот что мне интересно: почему она ему совсем не сопротивлялась?

— Может, и сопротивлялась.

— Тебе-то оттуда знать?

— Ох, лучше б он не выжил, ребенок этот! Говорят, мать до полусмерти девочку избила, хорошо, что в живых осталась.

— Хорошо бы младенец в живых не остался! Небось, такого безобразного существа еще и на свете не было.

— Это уж точно. По-моему, вообще такой закон следовало принять: ежели оба супруга такие уроды, так им запретить детей-то рожать. А то дети у них еще страшнее получаются. Такие безобразные, что лучше б им вовсе на свет не появляться.

— Ну, на ихнюю «красоту» мне плевать. А все ж таки просто чудо, если этот ребенок выживет…

Мы были потрясены, когда поняли, что к чему, однако изумление наше удивительно быстро уступило место странной разновидности защитного стыда; и все же, ошеломленные тем, что случилось с Пиколой, мы переживали за нее, да и просто ее жалели. Мы и думать забыли о хлопотах, связанных с возможной покупкой нового велосипеда. И, по-моему, сильно огорчались из-за того, что так мало людей сочувствовали Пиколе. Одним эта история казалась отвратительной, других она забавляла или даже возбуждала; многие были попросту разгневаны, а нам так хотелось услышать, чтобы хоть кто-то назвал

Пиколу «бедная девочка» или «бедное дитя». Но люди вместо простых слов сочувствия только сурово качали головой да бросали странные намеки. Мы тщетно пытались прочесть хоть в чьих-то глазах искреннюю боль и тревогу о Пиколе, но все вокруг словно нацепили на себя маски полнейшего равнодушия.

Я часто думала о ребенке, которому все вокруг дружно желали умереть, и очень отчетливо его себе представляла. Он находился в потайном темном месте, где тепло и влажно, и головенка его была вся покрыта густыми вьющимися волосами, а на черном личике блестели, как новенькие монетки, два чистых черных глаза; носик у него был широкий, губы толстые, слегка выпяченные, словно для поцелуя, а кожа, как живой дышащий темный шелк. И никаких искусственных желтых кудрей, челкой свисающих над голубыми глазами, выпуклыми и блестящими, как мраморные шарики; никакого курносого носа; никаких изогнутых «луком Амура» губ! Я очень хорошо относилась к Пиколе, но куда сильнее приязни к ней было мое желание, чтобы хоть кто-то в этом мире пожелал этому черному малышу благополучно появиться на свет и выжить — вопреки вселенской любви к дурацким «белым» куклам

с желтыми волосами, вопреки всеобщему восхищению всякими там Ширли Темпл и Морин Пил. Фрида, должно быть, испытывала примерно те же чувства. Какая разница, что Пикола не замужем! Подумаешь! Вокруг полно незамужних девиц, которые преспокойно детей рожают. Не зацикливались мы и на том, что отцом ребенка Пиколы оказался ее собственный отец; процесс зачатия рождения ребенка и тот факт, что забеременеть можно от любого человека мужского пола, был для нас пока непостижим; зато Пикола, считали мы, знает и своего отца, и отца своего ребенка. Нас поражала и возмущала только всеобщая ненависть к ребенку, который еще и родиться не успел. Мы хорошо помнили, как тогда, в доме у озера, миссис Бридлав сбила Пиколу с ног и бросилась утешать эту розовую замороженную куклу, у которой даже слезы казались розовыми, а плач был похож на скрип дверцы нашего старого холодильника. Не забыли мы и того, как чернокожие мальчишки сразу смущенно потупились под взглядом Шестипалой Меренги, хотя на Пиколу они только что смотрели совсем другими глазами. А может, мы и не помнили всего этого, а просто знали. Нам ведь постоянно приходилось защищаться — с тех пор, как мы себя помнили,

мы были вынуждены защищать себя от всех и каждого, думать над каждым словом, прежде чем его произнести, опасаясь ненароком нарушить установленные обществом правила и каждый свой жест предварительно подвергая тщательному анализу, — и все это в итоге привело к тому, что мы стали упрямыми, хитрыми и наглыми. Внимания на нас никто не обращал, зато сами мы обращали на себя даже слишком много внимания и пока понятия не имели о собственных недостатках. Своим единственным недостатком мы считали малый рост и были уверены, что остальные могут нам приказывать только потому, что они выше, крупнее и сильнее. Так что — с уверенностью, подкрепленной жалостью и гордостью, — мы решили полностью переменить ход вещей, а заодно и жизнь одного конкретного человека.

— Ну, Фрида, с чего начнем?

— Да вряд ли нам удастся что-то сделать. Мисс Джонсон сказала, просто чудо, если он выживет.

— Вот давай и устроим это чудо.

— Хорошо бы, а как?

— Ну, можно, например, молиться.

— Этого мало. Помнишь, как в тот раз, с птичкой?

— Ну, тогда же все по-другому было; мы ее и нашли-то уже полумертвой.

— Ну и бог с ней. А сейчас, по-моему, мы должны действительно изо всех сил постараться.

— А давай попросим, чтобы Бог ребенка Пиколы в живых оставил? И дадим Ему клятву, что целый месяц будем хорошо себя вести и хорошо учиться.

— О'кей. Только этого мало. Нам нужно еще какую-нибудь жертву принести. Например, от чего-нибудь стоящего отказаться, чтобы Он понял: на этот раз намерения у нас самые серьезные.

— А от чего отказаться-то? У нас же ничего нет. Есть, правда, деньги за семена — целых два доллара!

— Мы можем, конечно, и два доллара отдать… Но знаешь что? Мы можем отказаться от велосипеда! Деньги закопать, а семена… посадить.

— Закопать все деньги?

— Клодия! Ты хочешь сделать что-нибудь стоящее или не хочешь?

— Хочу, хочу. Я просто подумала… Ну, ладно-ладно.

— И сделать это мы должны прямо сейчас. Деньги закопаем возле дома Пиколы, чтобы нам нельзя было туда вернуться и выкопать их; а

семена посадим у нас за домом и будем за ними присматривать. И как только цветы взойдут, мы сразу поймем, что все будет хорошо. Ну что, согласна?

— Согласна. Только давай я на этот раз спою, ладно? А ты волшебные слова скажешь.

СМОТРИТЕСМОТРИТЕЭТОИДЕТОДИНИЗ
ДРУЗЕЙДРУГПОИГРАЕТСДЖЕЙНОНИ
БУДУТИГРАТЬВХОРОШУЮИГРУ
ИГРАЙДЖЕЙНИГРА

Сколько раз за одну минуту ты смотришься в свое старое зеркало?

Но я давно уже в него не смотрелась!

Неправда, смотрелась!

Ну и что? Хочу и смотрюсь.

Я же не говорю, чтобы ты вообще не смотрелась. Мне просто непонятно, зачем это делать каждую секунду. Они же никуда не денутся.

Знаю, что не денутся. Мне просто нравится на них смотреть.

Боишься, что они могут вдруг исчезнуть?

Ничего я не боюсь! Как это — исчезнуть?

Ну, другие-то исчезли.

Они не исчезли. Они просто изменились.

Исчезли. Изменились. В чем разница-то?

О, разница огромная! Мистер Мыльная Голова

обещал, что они такими навсегда останутся.

Навсегда останутся? Навеки, аминь?

Да, если хочешь знать!

И вовсе не обязательно что-то из себя корчить, когда ты со мной разговариваешь.

Ничего я не корчу! Ты первая стала ко мне придираться.

Да я просто хотела, чтоб мы еще чем-нибудь занялись. А то мне уж надоело смотреть, как ты на себя в зеркало пялишься.

Ты просто завидуешь.

И не думаю.

Нет, завидуешь. Спишь и видишь, чтобы и у тебя такие же были.

Ха! Ну и видок бы у меня тогда был — с голубыми-то глазами?

Так себе видок.

Ну, если ты намерена и дальше так со мной разговаривать, да еще и в зеркало постоянно смотреться, то я, пожалуй, пойду. Найду себе занятие поинтересней.

Нет. Не уходи. А чем ты хочешь заняться?

Ну, например, можно было бы пойти поиграть на улице.

Там слишком жарко.

Ничего. Зато ты можешь взять с собой свое

старое зеркало, положить его в карман и, прогуливаясь по улице, то и дело в него посматривать.

Господи! Никогда бы не подумала, что ты будешь так завидовать!

Да ладно тебе!

Вот и сейчас тоже…

Что «сейчас тоже»?

И сейчас завидуешь.

Ну хорошо. Пусть я завидую.

Вот видишь? Я же говорила!

Нет. Это я только что сказала.

А правда они хорошенькие?

Да. Очень.

Действительно очень хорошенькие?

Действительно очень хорошенькие. Действительно очень красивые. Правда-правда. Очень хорошенькие и очень-очень голубые.

Голубые-преголубые и по-настоящему хорошенькие?

О господи! Да ты просто спятила.

Ничего я не спятила!

Да нет, я совсем не это имела в виду…

А тогда что же?

Ладно, идем. Здесь слишком жарко.

Погоди минутку. Я никак не могу туфли найти.

Да вот же они!

Ой, вот спасибо!

Ты зеркало-то свое взяла?

Да, дорогая, спасибо…

Ну, тогда пошли… Ой!

В чем дело?

Да солнце слишком яркое. Прямо глаза режет.

А мне почему-то нет. Я даже не моргнула ни разу. Вот, пожалуйста, я прямо на солнце могу смотреть!

Не делай этого!

Почему? Мне же не больно. Мне даже щуриться и моргать не нужно.

А ты возьми и моргни, а то как-то странно смотреть, когда ты прямо на солнце пялишься.

Почему странно?

Не знаю, странно, и все.

Да нет, все ты знаешь! Почему странно?

Я же сказала, что сама не знаю.

А почему ты говоришь, а на меня не смотришь? Ты в пол смотришь, как миссис Бридлав.

А что, миссис Бридлав, когда с тобой говорит, всегда глаза опускает?

Да. Теперь она всегда так делает. С тех пор как у меня появились голубые глаза, она на меня вообще не смотрит, все время взгляд отводит. Может, она тоже мне завидует, ты как думаешь?

Возможно. У тебя ведь такие хорошенькие глазки! Да ты и сама знаешь.

Да, знаю. Здорово у него это получилось. И теперь все мне завидуют. Стоит мне на кого-нибудь посмотреть, и этот человек тут же глаза отводит.

Так, может, поэтому никто до сих пор тебе и не говорил, что у тебя глаза красивые?

Ну конечно поэтому! Ты только представь: с человеком такое чудо произошло, и никто, ну совсем никто ни слова мне не сказал! Все только старательно делают вид, будто никаких голубых глаз у меня нет. Ну, разве это не смешно?.. Я сказала, разве это не смешно?

Да. Конечно, смешно.

Ты единственная, кто говорит мне, какие они хорошенькие.

Да.

Ты настоящий друг. Ты прости, что я иногда раньше ссорилась с тобой, говорила, что ты мне завидуешь и все такое.

Ничего, все нормально.

Нет. Правда. Ты моя самая лучшая подруга. А почему я раньше тебя не знала?

А раньше я была тебе не нужна.

Как это ты была мне не нужна?

Ну… раньше ты была такой несчастной. По-мо-

ему, ты меня раньше даже не замечала.

Наверное, ты права. А ведь мне так не хватало друзей! А ты была совсем рядом, прямо перед глазами.

Нет, золотко, не перед, а прямо ЗА твоими глазами.

Как это?

А кстати, что насчет твоих глаз говорит Морин?

Ничего. Ничего она насчет них не говорит. А тебе она что-нибудь о них говорила?

Нет. Ничего.

Тебе Морин нравится?

Ну… она ничего. Для цветной девчонки, конечно.

Да, я тебя понимаю. Но ты бы хотела с ней дружить? Ну, там, повсюду с нею ходить и все такое?

Нет.

И я тоже. Хотя уж она-то наверняка популярностью пользуется.

А кто еще хочет пользоваться популярностью?

Только не я.

И не я.

А ты и не можешь пользоваться популярностью. Ты даже в школу не ходишь.

Ты тоже.

Я знаю. Но раньше я ходила.

А почему перестала?

Они меня заставили.

Кто тебя заставил?

Не знаю. Как только я пришла в школу с новыми голубыми глазами, они уже на следующий день миссис Бридлав вызвали. И больше я в школу не хожу. Да и не надо. Плевать мне на нее.

Нет, тебе не плевать.

Правда, плевать. Мне действительно на эту школу плевать. Там все предубежденные какие-то!

Это точно, они там предубежденные.

А все потому, что теперь у меня глаза голубые, голубей, чем у них, вот они на меня зуб и точат.

Да, наверно.

А они у меня, правда, голубей, чем у них?

О да, гораздо голубей!

Голубей, чем у Джоанны?

Намного голубей, чем у Джоанны.

И голубей, чем у Мишлен?

Намного голубей, чем у Мишлен.

Я так и думала. А Мишлен тебе что-нибудь о моих глазах говорила?

Нет. Ничего.

А ты ей что-нибудь говорила?

Нет.

А почему?

Что — почему?

А почему ты ни с кем не разговариваешь?

С тобой-то я разговариваю.

А кроме меня?

А мне никто, кроме тебя, не нравится.

Где ты живешь?

Я же тебе рассказывала.

А твою мать как зовут?

Слушай, тебе-то какое дело? Нечего в мои дела нос совать.

Да я просто так спросила. Ты ни с кем не разговариваешь, и в школу ты не ходишь, и с тобой тоже никто не разговаривает…

Откуда ты знаешь, что со мной никто не разговаривает?

Так ведь не разговаривают же! Когда ты у нас дома, прямо совсем рядом со мной, даже миссис Бридлав тебе никогда ничего не говорит. Никогда! Мне даже порой кажется, что она вообще тебя не видит.

Это почему же она меня не видит?

Не знаю. Она чуть ли не спотыкается об тебя.

Может, она просто плохо себя чувствует после

того, как Чолли ушел?

Ой, да! Ты, наверно, права.

Она ведь по нему скучает, да?

Вот уж не знаю! С чего бы ей по нему скучать? Он только и делал, что напивался да ее бил.

Взрослые, они все такие, сама знаешь.

Да нет, не знаю. А какие они?

Ну, она, наверно, его все-таки любила.

ЕГО?!

Ну да. А почему бы и нет? Да если б даже и не любила, так все равно позволяла ему сколько угодно раз ЭТО с собой делать.

Это ничего не значит.

А ты откуда знаешь?

Я их все время видела. И ей ЭТО не нравилось.

Тогда почему же она ему ЭТО позволяла?

Потому что он ее заставлял.

Как это можно заставить человека такими вещами заниматься?

Легко.

Да неужели? Так уж и легко?

Тебя просто заставляют, и все.

Да, наверное, ты права. А уж Чолли и впрямь кого хочешь мог заставить.

Не мог.

Тебя же он заставил, верно?

Заткнись!

Я же просто так, в шутку.

Заткнись!

ОК, ОК.

Он просто попробовал, ясно тебе? И ничего не сделал. Эй, ты меня слышишь?

Ты же мне заткнуться велела.

Да уж лучше заткнись. И вообще мне такие разговоры не нравятся.

Я ведь уже заткнулась.

Вечно ты всякие гадости говоришь. Кто, кстати, тебе вообще об этом сказал?

Я уж и позабыла.

Сэмми?

Нет. Ты сама и сказала.

Я не говорила.

Нет, говорила! Ты сказала, что он попробовал ЭТО с тобой сделать, когда ты на кушетке спала.

Заткнись! Несешь, сама не знаешь что. Это случилось, когда я посуду мыла.

Ах да! Кажется, и впрямь посуду.

Да, посуду! И я была в кухне одна.

Ну и очень хорошо! Я очень рада, что ты ему не дала.

Ага.

А что, дала?

Что дала?

Ну, позволила ему ЭТО.

И кто из нас спятил?

Я, наверное.

Да уж, конечно, ты.

А все-таки…

Ну-ну, давай дальше. Что «все-таки»?

Мне все-таки интересно, каково это.

Ужасно!

Правда?

Да. Просто ужасно.

Так почему же ты миссис Бридлав ничего не сказала?

Я все ей сказала!

Ну, я не тот, не самый первый раз имела в виду, а второй, когда ты на кушетке спала.

Я не спала! Я читала!

И вовсе не обязательно так орать.

Так ты же ничего не понимаешь! Она ведь мне совсем не поверила, когда я ей все рассказала.

Значит, ты поэтому ей о том, втором разе не сказала?

Ну да. Она бы мне снова не поверила.

Тут ты права: какой смысл рассказывать, раз она все равно тебе верить не хочет.

Именно это я и пытаюсь вбить в твою тупую

башку.

Ладно. Теперь я примерно понимаю.

Что ты хочешь этим сказать? Что значит «примерно»?

Нет, сегодня ты просто настоящая злючка.

А ты все время какие-то гадости говоришь, все что-то выспрашиваешь. Я думала, мы с тобой подруги.

Да подруги мы, подруги!

Тогда оставь меня в покое и перестань спрашивать про Чолли.

ОК.

Все равно мне о нем сказать-то больше нечего. Нет его, уехал.

Да уж. Ну и тем лучше.

Да. Тем лучше.

И Сэмми тоже уехал.

Да, и Сэмми тоже.

Значит, нечего об этом и говорить. О них то есть.

Да, нет никакого смысла о них говорить.

Ничего, теперь все кончено.

Да.

И тебе больше не нужно бояться, что Чолли снова на тебя набросится.

Нет, больше не нужно.

Это ведь было ужасно, да?

Да.

И во второй раз тоже?

Да.

Неужели и во второй раз тоже?

Слушай, оставь меня в покое! Оставь меня в покое немедленно!

Ты что, шуток не понимаешь? Я же просто пошутила.

Я не люблю грязные разговоры.

Я тоже. Так давай поговорим о чем-нибудь другом.

О чем? О чем еще другом?

Ну, например, о твоих глазах.

Ах да… Мои глаза. Мои голубые глаза. Дай-ка я еще разок на них посмотрю.

Видишь, какие они у тебя красивые?

Да. И с каждым разом становятся все красивее, стоит мне на них посмотреть.

Я таких красивых глаз никогда не видала!

Правда?

Ей-богу!

Они красивее, чем небо?

О да, гораздо красивее!

Красивее, чем в книжке об Алисе и Джерри?

О да, гораздо красивее, просто не сравнить с

этой книжкой.

И красивее, чем у Джоанны?

Гораздо красивее и гораздо голубей.

Неужели голубей, чем у Мишлен?

Да.

Ты уверена?

Конечно, уверена.

А по голосу и не скажешь…

Ну, насчет Мишлен я уверена. Вот только…

Что только?

Да ничего особенного. Я просто вспомнила одну красивую даму, которую вчера случайно увидела. Вот у кого глаза уж точно были голубые. Но, пожалуй, все же не такие голубые, как у тебя.

Ты уверена?

Да, совершенно. Сейчас я их как следует вспомнила: они были красивые, но твои куда голубей.

Как я рада!

И я тоже. Ужасно не хотелось бы думать, что у кого-то глаза могут быть голубей, чем у тебя. Я, честное слово, уверена, что такое просто невозможно. В нашем округе, во всяком случае, таких голубых глаз, как у тебя, больше не сыщешь.

Но ведь ты же не можешь знать наверняка. Ты ведь не каждому в нашем округе в глаза смотрела.

Нет, конечно, не каждому.

Значит, здесь могут быть и другие люди с голубыми глазами, верно?

Ну, с такими, как у тебя, вряд ли.

Но ведь это возможно. Возможно, да? Ты сказала «в нашем округе». «В нашем округе таких не сыщешь». А в других местах? Даже если, как ты говоришь, мои глаза и голубей, чем у Джоанны, или у Мишлен, или даже у той красивой дамы, которую ты видела, то, предположим, где-то далеко отсюда вполне может жить человек, у которого глаза куда более голубые, чем мои?

Ну что за ерунда!

Но ведь где-то там могут найтись такие люди, правда?

Да нет, вряд ли.

Но предположим. Предположим, где-то очень далеко отсюда, например в Цинциннати, может жить кто-то с более голубыми, чем у меня, глазами. Ведь может, да? Или даже два человека с более голубыми глазами…

Ну и что? Ты же просила голубые глаза? Вот ты их и получила!

Ему надо было сделать их еще более голубыми.

Кому?

Мистеру Мыльная Голова.

А ты ему говорила, какого оттенка глаза тебе нужны?

Нет. Я забыла.

Ах, забыла… Ну ладно, тогда смотри сюда. Вон на ту девочку. На ее глаза. Скажи, они голубей, чем мои?

Нет, мне так не кажется.

А ты хорошо смотрела?

Да.

А вот и еще кто-то идет. Посмотри ему в глаза. Видишь? Разве они голубей твоих?

Ну что за глупости! Не стану я каждому в глаза заглядывать!

А придется.

Ничего не придется! Пожалуйста, поверь: если есть на свете кто-то, у кого глаза голубей моих, это значит, что найдется и тот, у кого глаза совсем голубые-преголубые. Самые голубые на свете.

Это уж как-то чересчур. Это, по-моему, даже как-то плохо.

Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне их высмотреть.

Нет.

А что, если мои глаза недостаточно голубые?

Недостаточно голубые для чего?

Недостаточно голубые для… Ну, не знаю я. Для

чего-нибудь. Недостаточно голубые, например… для тебя!

Ну все, хватит! Не буду я больше с тобой играть.

Ой, только не уходи, не оставляй меня!

Нет. Довольно. Я ухожу.

Но почему? Ты что, совсем на меня рассердилась?

Да.

Это потому, что у меня глаза недостаточно голубые? Потому что они не самые голубые на свете?

Нет. Потому что ты несешь всякую чушь.

Не уходи. Не бросай меня. Скажи, ты ко мне вернешься, если я их раздобуду?

Что раздобудешь?

Самые голубые глаза на свете. Тогда ты вернешься?

Конечно, вернусь. Я ведь ненадолго ухожу.

Ты обещаешь?

Конечно. Я обязательно вернусь. И предстану перед твоими голубыми глазами.

Вот так все это и было.

Черная девочка страстно мечтает отнять голубые глаза у белой девочки, и внутри ее глубочайшего желания таится такой ужас, который способно затмить только злодейское воплощение

ее мечты.

Мы с Фридой иногда потом встречали ее — уже после того, как умер ее ребенок, родившийся раньше времени. После того, как понемногу утихли все сплетни, и люди лишь медленно и печально качали головой, увидев ее. Смотреть на Пиколу и впрямь было печально. И взрослые люди частенько не выдерживали и попросту отворачивались; а вот дети, которые ничуть не боялись, смеялись ей в лицо.

Ей был нанесен страшный, невосполнимый ущерб. Свои лучшие годы, всю свою раннюю юность она целыми днями безостановочно бродила туда-сюда, и голова ее дергалась, словно в такт рокоту барабана, но столь далекому, что расслышать его была способна лишь она одна. Согнув руки в локтях, а пальцами вцепившись себе в плечи, она время от времени взмахивала согнутыми руками, точно бескрылая птица в своем вечном нелепо-бессмысленном стремлении взлететь. Точно птица с подрезанными крыльями, она хлопала согнутыми руками, стремясь в голубой простор, который, увы, недостижим, который она теперь даже увидеть никогда не сможет, но которым полна вся ее душа до самого последнего закоулка.

Мы старались подсматривать за ней незаметно, никогда не глядели на нее в упор и никогда не подходили близко. Не потому, что она вела себя как-то уж очень нелепо или обладала отталкивающей, пугающей внешностью, а просто потому, что мы ее подвели. И цветы наши тогда так и не выросли. Впрочем, я была убеждена, что Фрида права и я просто слишком глубоко их посеяла. И как это я ухитрилась допустить такую глупую оплошность? В общем, теперь мы всегда старались избегать Пиколы Бридлав.

А годы шли и шли, складываясь в стопку, точно носовые платки. Сэмми давным-давно уехал из города, Чолли умер в работном доме, а миссис Бридлав по-прежнему трудится домработницей. И Пикола тоже еще существует где-то — по всей видимости, в том коричневом домишке на окраине города, куда они с матерью сразу же тогда переехали. И порой ее можно там встретить. Странные птичьи жесты и движения несколько стерлись, но она по-прежнему время от времени нелепо взмахивает руками или начинает что-то подбирать, а то и выдергивать из земли, лавируя между грудами старых автомобильных покрышек и высокими подсолнухами, россыпями бутылок из-под коки и зарослями молочая

— между всеми отходами и «красотами» того мира, к которому теперь сама принадлежит. Иной раз кажется, будто мы вывалили на нее все эти отходы, а она их впитала, как и нашу красоту, которая исходно принадлежала ей, но она ее нам подарила. И все мы — все те, кто ее знал — сразу почувствовали себя таким прекрасными, такими целостными, как только освободились от Пиколы, как бы очистились от нее. Да, мы казались себе прекрасными именно на фоне ее некрасивости. Ее простодушие оттеняло нашу лживость, ее вина нас очистила, ее боль заставила нас сиять здоровьем, а ее неуклюжесть подарила нам уверенность в том, что мы обладаем чувством юмора, и мы втихомолку посмеивались над ее косноязычием, считая себя весьма красноречивыми. Ее нищета вызывала у нас желание быть щедрыми. Даже ее чуткий, поверхностный сон мы использовали, чтобы заглушить собственные ночные кошмары. И все это она нам позволяла, чем вызывала с нашей стороны только презрение. Мы как бы оттачивали на ней собственное эго, укрепляли свой характер за счет ее хрупкости и уязвимости и заранее зевали, предвкушая фантастические сны, в которых будем сильными, свободными и могущественными.

И это действительно была чистой воды фантазия, ибо мы никогда не были сильными — всего лишь агрессивными, и никогда не были свободными — нам всего лишь кое-что разрешалось, и не были исполнены сочувствия — мы были всего лишь вежливы, и не были добрыми, просто не показывали этого в силу хорошего воспитания. Мы угождали смерти, всячески добиваясь ее расположения, и называли себя храбрыми, а от жизни прятались, как последние воры. Мы подменяли интеллект грамотностью, мы отказывались от собственных привычек, притворяясь взрослыми, мы по-своему излагали полученные нами лживые сведения, выдавая их за правду и видя в этом воплощение старой идеи об Откровении и Слове.

Она, однако, шагнула гораздо дальше, за порог безумия, и это безумие защитило ее от нас хотя бы потому, что в конце концов она со своим безумием попросту нам надоела.

Нет, кое-кто ее, пожалуй, действительно любил. Линия Мажино, например. Или Чолли. Я, например, уверена, что Чолли ее любил. Во всяком случае, только он один любил ее достаточно сильно, чтобы к ней прикасаться, обнимать ее, укутывать ее одеялом, дарить ей часть себя самого. Однако его прикосновения оказались для

нее фатальными, а та его часть, которую он ей подарил, наполнила ее детскую матку смертельной агонией. Любовь никогда не бывает лучше любовника. Злые люди и в любви проявляют зло, жестокие — жестокость, слабые — слабость, а глупые — глупость; а любовь человека свободного никогда не бывает безопасной. Нет и не может быть такого подарка, который возлюбленные могли бы преподнести друг другу. Даром любви обладает лишь тот, кто любит. А тот, кого любят, этого дара лишен; он как бы нейтрализован, заморожен сверканием внутреннего ока любящего человека.

И теперь, когда я вижу, как Пикола что-то ищет среди мусора, — что же она там ищет? Не то ли, что мы в ней убили? — я каждый раз говорю, что я не виновата, что наши семена не взошли не потому, что я слишком глубоко их посеяла, а потому, что уж больно гадкой была почва и в нашем городе, и во всей нашей стране. Мне теперь даже кажется, что в тот год земля повсюду в нашей стране была враждебно настроена — особенно против бархатцев. Земля у нас вообще не подходит для некоторых разновидностей цветов. И некоторые семена попросту не всходят, и плоды не завязываются, а когда земля по собственно-

му хотению начинает убивать, мы лишь молча соглашаемся и говорим, что, наверное, жертва и жить-то права не имела. Разумеется, мы не правы, но какое это имеет значение? Все равно уже слишком поздно. Во всяком случае там, на окраине нашего города, где высятся груды мусора и огромные подсолнухи, давно уже слишком поздно, слишком, слишком поздно.

Послесловие

Мы тогда только-только поступили в начальную школу. Она сказала, что хочет голубые глаза. Я огляделась, пытаясь представить себе, как она с этими глазами будет смотреться, и воображенный мною образ показался мне настолько отвратительным, что я подумала: не дай бог ее мечта исполнится! Но голос ее звучал так печально, и она так явно взывала к сочувствию, что я притворилась, будто действительно очень ей сочувствую, но она, видно, почувствовала ложь и заявила, что вовсе я ее не поддерживаю, а, наоборот, завидую и «жутко на нее злюсь». До этого я уже успела увидеть немало разных девиц, хорошеньких, очаровательных, милых, некрасивых и даже безобразных, и наверняка пользовалась словами «красивая» и «красота», но сама никогда еще не испытывала их шокирующего воздействия, по силе равного пониманию того, что никто больше в тебе никакой красоты не признает, — и прежде всего тот (или та), кто красотой действительно обладает. И дело было не в том, чье лицо я в тот момент рассматривала,

а еще и в безмолвии утренних улиц, в солнечном свете, в самой атмосфере этого странного признания. Во всяком случае, именно тогда я впервые поняла, что такое красота. Вообразила ее себе. Догадалась, что красотой можно не просто обладать; ее можно еще и создать. Роман «Самые голубые глаза» стал моей первой попыткой сказать об этом, а также о том, почему у моей героини так и не было — и, возможно, никогда уже не будет — ни понимания того, что и она обладает определенной красотой, ни опыта подачи собственной красоты. Ведь она именно потому молила Бога о столь радикальной перемене своей внешности, ибо имплицитно в этом ее желании было заложено расовое отвращение к себе самой. А я даже двадцать лет спустя все продолжала размышлять, где и как человек этому отвращению научается. Кто ей сказал, что она урод? Кто внушил ей, что лучше быть фриком, чем обычной чернокожей девчонкой? Кто, глянув на нее, заметил в ней столь сильное желание изменить свою внешность и столь слабую самооценку по шкале красоты? Мне очень хотелось, чтобы мой роман просто «глаза выклевал» тем, кто внушил ей эти нелепые мысли, кто «приговорил» ее к некрасивости. Разумеется, меня подхлестнула и весьма

популярная в шестидесятые годы теория возрождения расовой красоты, и я стала задумываться, не пора ли и мне высказать свою точку зрения?

Почему красота чернокожих, всячески оболганная и обруганная другими, внутри самой расы не воспринималась должным образом? Почему вдруг потребовалось широкое публичное обсуждение этой темы? Признание каких-то юридических прав? Вопросы, конечно, не самые умные, но и в 1962 году, когда в моей голове снова всплыла эта история, и в 1965-м, когда она уже начала превращаться в книгу, ответы на них все еще не были для меня очевидны. Впрочем, вскоре мне многое стало понятно, а теперь и окончательно прояснилось. Защита расовой красоты отнюдь не была реакцией на самоироничную, исполненную юмора критику культурных/расовых слабостей, свойственных всем народам; она была направлена против губительной идеи — порожденной вполне конкретными взглядами со стороны — интернационализации представлений об определенной и неизменной неполноценности черной расы. А потому я сосредоточилась на том, как нечто столь абсурдно нелепое, как демонизация целой расы, способно пустить корни в душах и самых хрупких

членов человеческого общества, детей, и наиболее уязвимых его членов — женщин. Пытаясь драматизировать тот ущерб, который наносит человеческой душе даже самое заурядное проявление расового презрения, я выбрала ситуацию скорее уникальную, чем репрезентативную. Экстремальность того, что произошло с Пиколой, в значительной степени связана с особенностями ее семьи, где и у супругов отношения носят уродливый характер, и к детям своим они относятся так, что тоже постоянно их уродуют — это, кстати сказать, отнюдь не характерно для обычных чернокожих семей (в том числе и для моей собственной). Но даже столь исключительный случай вполне соотносим, по моему глубокому убеждению, с некоторыми аспектами жизни в семье буквально всех девушек, обладающих особой ранимостью и впечатлительностью. Исследуя тему общественного и домашнего насилия, зачастую приводящего к гибели ребенка, я собрала целую коллекцию особых случаев — и некоторые из них показались мне вполне обыденными, некоторые совершенно исключительными, а некоторые поистине ужасными, — и все это ради того, чтобы избежать упрощенного подхода к тому процессу демонизации, которому была

подвергнута Пикола. То есть мне не хотелось совсем уж лишать человеческих качеств тех, кто пренебрежительно к ней отнесся и тем самым внес вклад в ее уничтожение. Одна проблема оказалась для меня исключительно важной: мне было необходимо как-то соотнести предпринятое в романе тяжелое расследование с хрупкостью и уязвимостью героини; ведь итог подобного расследования мог ее попросту раздавить, а читателей, наоборот, привести к комфортному чувству жалости, а отнюдь не к желанию задать себе жесткий вопрос: как, почему и кем эта девочка была по сути дела уничтожена? Мое решение — разбить повествование на части, которые в нужном ему порядке будет переставлять и собирать сам читатель, — представлялось мне тогда вполне разумным, однако теперь, воплощенное в жизнь, оно меня совершенно не устраивает. Эта моя задумка, кстати сказать, и не сработала: многих читателей сюжет книги заинтересовал, даже, возможно, взволновал, но отнюдь не тронул до глубины души. Вторая моя проблема — это, разумеется, язык. Оказалось, что очень сложно демонстрировать легкое презрение и тут же от него отрекаться. Я попыталась как можно больнее задеть своим романом живой нерв расового

презрения к себе, выставить его напоказ, а затем как-то смягчить — но с помощью не литературных «наркотиков», а неких языковых ухищрений, что, собственно, явилось откликом моего первого осознания, что есть красота. Поскольку тот момент оказался чрезвычайно расово насыщенным (я действительно испытывала отвращение к тому, о чем так мечтала моя школьная подруга — очень голубые глаза на очень черном лице, — а ее нелепая идея нанесла чрезвычайно ощутимый удар по всей моей концепции прекрасного), я прежде всего стремилась писать только о том, что бесспорно является черным. Я и до сих пор как следует не понимаю, что это должно было означать, но ни это непонимание, ни попытки полностью дисквалифицировать идею поисков «абсолютной красоты», как оказалось, не способны были меня остановить, и я продолжала гнуть ту же линию. Некоторое время назад я совершила самый большой шаг, на какой только была способна: изложила стратегию размещения моих произведений в категории специфически расовой, но одновременно и свободной от всякой расовой принадлежности прозы. То есть прозы, свободной от расовой иерархии и расового торжества. Можно привести несколько примеров

упомянутой стратегии. Собственно, первая часть романа открывается предложением: «Пока это для нас тайна», и эта фраза обладает для меня сразу несколькими привлекательными характеристиками.

Во-первых, это знакомая фраза, ибо и я ребенком вечно исподтишка прислушивалась к разговорам взрослых, точнее к разговорам чернокожих женщин, то рассказывающих какую-нибудь историю или анекдот, то просто сплетничающих о ком-то из членов своего тесного кружка — о знакомых, родственниках или соседях. Во-вторых, это фраза заговорщика: «Ш-ш-ш, только никому больше не рассказывай! Об этом больше никому знать не полагается!» Это одновременно и тайна, которую мы доверяем друг другу, и некие секретные сведения, которые стараются сохранить в тайне от нас. Таким образом, конспирация одновременно и соблюдается, и нарушается, тайные сведения и хранятся, и выставляются напоказ. В некотором смысле таков и сам акт написания книги, когда на публику выносится чье-то частное признание. Чтобы полностью понять двойственность этой позиции, следует вспомнить, каков был политический климат в 1965–1969 годах — период, когда создавалась моя книга. Это было время великих

социальных преобразований в жизни всего черного мира. Публикация книги (в отличие от ее написания) оказалась связана с определенным риском; а написание ее было связано с раскрытием многих тайн — и тех, которые хранили мы сами, и тех, которые хранили от нас, утаивали представители того самого внешнего мира, что существовал за пределами черного сообщества. Выражение «пока это тайна» — это ведь тоже фигура речи, в данном случае письменной, ибо выбрана она явно из-за того, сколь выразительно и ярко отражает мир героев романа и их ближайшего окружения. И потом, в коннотации с понятием «черной ограды», предполагающей запретные слухи и берущие за душу откровения, звучит «шепоток», признание (читателю), что главный-то рассказчик сам находится внутри процесса и знает нечто такое, чего не знают и не понимают другие, хотя вроде бы и намерен щедро поделиться имеющейся у него исключительной информацией. Тесная, даже интимная связь читателя и романа, к которой я, собственно, и стремилась, могла бы возникнуть незамедлительно, поскольку главная тайна то ли уже раскрыта читателю, то ли просто им подслушана. Внезапная фамильярность или, если угодно, вне-

запная интимность отношений читателя и книги в данном случае представлялась мне особенно важной, определяющей. Я не хотела, чтобы у читателя оставалось время на размышления типа: «Что мне придется сделать, от чего отказаться, чтобы прочитать эту книгу? Какая защита мне потребуется? Какую дистанцию предпочтительнее сохранить?» Потому что я-то знаю (а читатель/читательница не знает, и ему или ей, чтобы это понять, придется добраться хотя бы до второго предложения), какая это на самом деле страшная история, повествующая о том, чего, возможно, лучше было бы вообще никогда не знать. Так что же это за Великая Тайна, которой с читателем вот-вот поделятся? «Внутри» которой мы (читатель и я) будем в дальнейшем как бы заодно?

Возможно, это некая ботаническая аберрация, связанная с загрязнением окружающей среды. Возможно, некий сдвиг в естественном порядке вещей — но почему все-таки осенью, в сентябре, не цветут бархатцы? Такие привычные яркие выносливые бархатцы. Когда же это происходит? Осенью 1941 года, имевшей особое значение для США (государство вступило во Вторую мировую войну). Разумеется, это косвенный намек. В благодатном климате, в такое чудесное время года, как

«осень», fall, когда обычно и наблюдается бурное цветение бархатцев, перед вступлением США в войну эти цветы даже всходить отказываются, и возникает ощущение весьма мрачной тайны, которая, впрочем, вот-вот будет разглашена. Следующее предложение даст читателю понять, что рассказчица, то есть та, кому эта тайна известна, — всего лишь ребенок, просто рассказывая что-то, она употребляет те же слова и жесты, что и взрослые чернокожие женщины, собравшиеся где-нибудь на крылечке или на заднем дворе. Итак, первая фраза — это попытка юной рассказчицы сообщить какую-то шокирующую информацию, как это делают взрослые. Но точка зрения ребенка изменяет, как бы кастрирует первостепенный смысл полученной информации, который сразу обнаружил бы взрослый. «Мы думали… что наши бархатцы не зацвели, потому что Пикола беременна от собственного отца» — и сразу же на переднем плане оказываются цветы, а не запретный, незаконный, травматичный, недоступный пониманию секс, который приводит к ужасным последствиям. Это отодвигается на самый задний план. Подобное выставление на передний план «тривиальной» информации, а на задний — шокирующего события не только

обеспечивает детскую точку зрения, но и дает читателю возможность передохнуть и решить: стоит ли вообще доверять голосу этого ребенка? Могут ли сведения, полученные от детей, быть более надежными, чем то, что сообщают взрослые? Читатель таким образом оказывается на время защищен от слишком быстрого знакомства с различными болезненными подробностями истории, но одновременно и спровоцирован: ему хочется поскорее все узнать. Мне казалось, что новым здесь будет то, что история насилия над женщиной будет рассказана с достаточно «выигрышной» точки зрения — с точки зрения самой жертвы или, точнее, возможных жертв насилия из числа тех, кем никто никогда не интересуется (в 1965 году уж точно не интересовался!), — то есть точки зрения чернокожей девушки. А поскольку у самой жертвы нет даже достаточного словарного запаса, чтобы понять, насилие ли это, и разобраться в его обстоятельствах, ее юные, доверчивые, во всех отношениях уязвимые подружки, вспоминая и сопоставляя подслушанные разговоры всезнающих опытных женщин и старательно им подражая, будут вынуждены рассказывать обо всем вместо самой жертвы, по мере необходимости заполняя неизбежные

паузы собственными историями и размышлениями о жизни. Таким образом, уже начало романа наносит читателю удар, сообщая не просто о выболтанном секрете, а о нарушенном обете молчания, о заполненной разговорами пустоте и о произнесенной наконец вслух непроизносимой вещи. И сразу же намечается связь между несущественными сезонными отклонениями в развитии местной флоры и фактическим уничтожением чернокожей девочки, что для многих тоже является как бы несущественным. Конечно, слово «несущественный» представляет точку зрения внешнего мира, ибо для самих девочек оба явления — беременность подруги и нежелание бархатцев всходить и цвести — подобны землетрясению, и эту невероятно жестокую и сложную информацию они впоследствии в течение целого года своего все еще продолжающегося детства (да и позже) тщетно пытаются как-то уяснить. Но если им что и удается, так это переложить данную проблему на плечи предположительно взрослого читателя, чтобы теперь он попробовал в ней разобраться, — они как бы распределяют эту невыносимую тяжесть на более широкий круг людей, заодно и оправдывая свое неблаговидное поведение, поскольку выставили на всеобщее

обозрение нечто в высшей степени интимное. Если бы в «конспирации», с которой начинается книга, принимал участие читатель, то роман можно было бы счесть начинающимся с конца: размышления о нарушениях в «природе» тогда воспринимаются как часть нарушений в жизни человеческого общества, имевших трагические последствия для конкретного лица, и читатель, как часть «населения» книги, во всем этом имплицитно участвовал бы. Однако главная проблема поставлена как раз в центральной части романа. Отдельные части того неустойчивого мира, который я выстроила (чтобы пояснить, что происходит с Пиколой), удерживаются вместе лишь сменой времен года, столь важной в детстве, и на каждом повороте комментируются текстами о каком-то идеальном и явно белом семействе из совершенно неудобоваримого и бессмысленного учебника для начальных классов, который абсолютно не способен хоть как-то справиться с тем молчанием, которое возникает в центре романа, с той пустотой, которая являет собой по сути дела «небытие» Пиколы. Ему следовало иметь форму — подобно той гулкой пустоте, что остается после громкого удара или крика. Это молчание требует извращенной софистики, недоступных для меня

фальшивых объяснений и ловкой манипуляции голосами, звучащими вокруг Пиколы. Ведь она не способна увидеть себя до тех пор, пока не предстает перед собой в виде галлюцинации, в виде своего воображаемого «я». И то, что она действительно галлюцинирует, для книги уже не важно; сам этот факт и разговор об этом как бы выходят за пределы романа. Кроме того, хотя я всеми силами стремилась к некоей «женской экспрессивности», она мне по большей части не удалась, и мне пришлось довольствоваться женскими персонажами; к тому же я оказалась не в состоянии сохранить на всем продолжении романа тот феминистский подтекст, который столь ярко присутствует в начале (когда чернокожие женщины жадно сплетничают, пребывая в ужасе от того, что «для нас пока тайна»). Особенно неудачно, по-моему, получилась часть, посвященная Паулине Бридлав; там мне пришлось прибегнуть к помощи двух голосов — голоса самой Паулины и довольно-таки настырного голоса рассказчика, и то, как звучат оба эти голоса, меня совершенно не устраивает. Мне интересно также, почему в тех местах, где, как мне казалось, у меня должны были бы возникнуть наибольшие трудности с «подгонкой» языка под феминистскую манеру,

практически никаких трудностей не возникло: «насилие», которое совершают над Чолли белые мужчины, легко соединилось с тем насилием, которое он совершает над родной дочерью. Это наиболее «маскулинный» акт агрессии в языке моего романа становится как бы феминизированным, «пассивным», и, по-моему, вызывает еще большее отвращение, когда лишенное чисто мужского «позорного блеска» насилие подается как нечто обыденное. Я сознательно выбрала чисто разговорный, воспринимаемый в основном на слух, нелитературный язык, поскольку уверена, что глубоко, до самого дна, понимаю все коды и законы, заключенные в сложной культуре чернокожих американцев; моя попытка создать эффект мгновенного соучастия в сохранении столь интимной тайны (но не давать при этом никаких пояснений и не создавать ни малейшей дистанции между читателем и рассказчиком), как и моя попытка сформировать некое объемное молчание, одновременно его нарушая, — все это связано с моим стремлением видоизменить язык негров, преобразовать его так, чтобы он стал достоин сложной и богатой культуры Черной Америки. Вспоминая сейчас те проблемы экспрессивного языка, с которы-

ми тогда столкнулась, я с удивлением замечаю, сколь они по-прежнему актуальны. Человек обедняет свой интеллект, слушая исключительно «цивилизованную» речь; всевозможный «культурный экзорцизм», который мы повсеместно наблюдаем, обедняет литературу, создавая ощущение чего-то, законсервированного в янтаре никуда не годных метафор. Учитывая все это, я могу лишь заметить, что воплощение в жизнь моего нарративного проекта и сегодня оказалось столь же сложным, как и тридцать лет назад. За очень небольшим исключением, история первой публикации романа «Самые голубые глаза» оказалась похожей на жизнь его героини Пиколы: роман был практически отвергнут, воспринят как нечто в высшей степени тривиальное и в целом был прочитан неправильно. Потребовалось двадцать пять лет, чтобы он добился должного уважения и был должным образом издан.

Принстон, Нью-Джерси, ноябрь 1993.